

БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

A large, glowing sun or moon in a dark, stormy sky over a cityscape. The sun/moon is a bright yellow-orange circle with a dark center, surrounded by a fiery aura. The sky is filled with dark, swirling clouds. Below the sky, the silhouettes of a city with spires and buildings are visible against the dark background.

Тьма
Веков

Александр Свистунов

Тьма веков

«Издательские решения»

Свистунов А.

Тьма веков / А. Свистунов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-908212-1

«Тьма веков» — это ворота в таинственный и пугающий мир, где оживают древние легенды. Эти леденящие кровь истории дошли до нас в песнопениях шаманов, скупых докладных записках тайных обществ, пропитанных магией манускриптах и мрачных сказках, которые матери рассказывали своим непослушным детям на самых разных языках на протяжении столетий. Здесь вас ждут проклятые короли и кровожадные чудовища, зачарованные сокровища, самые мрачные закоулки человеческой души. Здесь даже герои отбрасывают тени.

ISBN 978-5-44-908212-1

© Свистунов А.
© Издательские решения

Содержание

Александр Дедов	6
Александр Лебедев	19
Александр Лебедев	34
Анатолий Герасименко	49
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Тьма веков

Редактор Александр Свистунов

Дизайнер обложки Андрей Альбрехтов

Иллюстратор Александр Павлов

Иллюстратор Сергей Захаров

Иллюстратор Александр Соломин

Иллюстратор VEA

© Андрей Альбрехтов, дизайн обложки, 2018

© Александр Павлов, иллюстрации, 2018

© Сергей Захаров, иллюстрации, 2018

© Александр Соломин, иллюстрации, 2018

© VEA, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-8212-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Александр Дедов Здесь начинается Похьёла

Наступил новый тысяча девятьсот сорок шестой год. Газеты всего мира до сих пор обсаивали косточки победы СССР в войне, но главное – немцев здесь больше нет, русские взялись налаживать гражданскую жизнь у себя дома, и от Финляндии все наконец-то отстали. Это была первая за много лет по-настоящему спокойная зима! А какая зима в Лапландии – тут и не передашь словами, тут видеть надо! Настоящая сказка, будто открытка ожила.

Олави Паавинен очень любил неторопливо прокладывать лыжню сквозь зимний лес. Тишина, лишь слышен хруст снега. Щёки у Олави одутловатые, румяные, под носом густая щётка жёстких заиндевелых усов. Весь он как-то крепко сбит, низок и широк, похож на хмурого сухопутного моржа, только бивней не хватает. Не любят люди Олави Паавинена, говорят, что колдун он и душу дьяволу продал, а за это Олави не любит людей в ответ. Такая у него с местными взаимность, зато всё честно и без обиняков. Живёт он на отшибе – десять километров от древни Киттиля, прямо за его домом начинается древний сосновый бор; и совсем бы хорошо жилось Олави, если бы не соседка. Старая саамка нет-нет, да приставала со своими бесконечными разговорами. «Вот не ходишь ты в церковь», – говорит бабка Ханнеле. – «Земля тело твоё не примет. Помрёшь, старый, я-то тебя похороню, зиму перележишь, а по весне кости земля вытолкнет, да волки их по лесу растащат. Креститься надо, Олави».

Но Олави не хотел идти в церковь. Дед его был шаманом, дед его деда был шаманом, все в его роду шаманами были, зачем Олави креститься? Ему старые боги помогают! Ещё до того как немцы пришли, в Зимнюю войну, бывало Олави положит на камень кусок оленины да бутыль самогону и разведёт костёр вокруг. Сам жиром обмажется и винтовку свою обмажет, подождёт, пока бутыль самогону от жара не лопнет, а потом шагает в пламя. Огонь не кусает – это Укко, отец небес, знать благословил. Метко бьёт винтовка после благословения Укко; спасибо тебе, громовержец! Уж сколько рюсся полегло в этих лесах.

Бабка Ханнеле была женщиной доброй. Бывает – заболит Олави, она ему чаю сделает, жиру с перетёртыми ягодами принесёт. Добрая была бы соседка, если бы не болтовня без умолку. Муж её вместе с Олави воевать ушёл, да всё как и жена – предал старую веру, это его и сгубило. Помолился бы своим богам, глядишь и домой бы вернулся невредимый. А теперь некому оленей пасти, оставила себе старуха двух, а остальное стадо продала.

Лес приветливо расступился, открывая дорогу к почернелому деревянному дому. Олави снял лыжи, поставил рядом винтовку и уселся на завалинку – трубку курить. Только он чиркнул спичкой, набрал полный рот дыму, как за калиткой показалась бабка Ханнеле.

– Ой, нет, только не ты... – сказал Олави. – Чего тебе опять от меня нужно, старая?

– Да вот, проведать тебя пришла. Поглядеть – не сожрал ли Паавинена медведь.

– Цел, как видишь. А теперь иди домой. Если нечего больше по делу сказать – не царапай воздух своим скрипом.

– Женщина тут одна тебя ищет. Мой племянник её сюда направил, сказал, что по твоей части дела. Только ты помочь можешь.

– Вот ты свалилась на мою голову! Мало было тебя одной – так ещё и племянник! Двадцать лет его не видел и ещё столько же не видать бы... С чего я вообще кому-то должен помогать? Я как в деревне появлюсь, все ставни закрывают или вслед крестятся, того и гляди – на рогатину посадят. А я им помогать, ага, так и разбежался.

– Злой ты Олави. Это демоны тебя за кишки дёргают! Вот ты весь и красный, да трясься. Не примет тебя Бог! Помог бы доброму человеку, тем более что беда её по твоей, бесовской части.

– Это отец Сергей на ваших православных проповедях рассказывает? Не буду я никому помогать и точка.

– Ну ты хоть выслушай человека, морж ворчливый. Ну хоть ради меня. Помнишь, как ты в прорубь провалился, потом с жаром лежал целый месяц? Кто тебе суп варил, кто тебе ягоды с жиром перетирали, кто тебя, тяжеленного, переворачивал, чтобы травяным отваром обтереть?

Совість всколыхнулась где-то в глубине чёрстой души Паавинена, будто простокваша по кишкам растеклась.

– Ладно, бабка! Но только ради тишины. Выслушаю твоего человека – и чтобы неделю на моём пороге не появлялась!

– Идёт, – заулыбалась старуха и поманила Олави следом за собой. – Она у меня остановилась, поживёт пару дней и уедет.

Дома у старухи царил необычайная чистота. В комнате уютно пахло луком и жареной рыбой, рядом с печкой, посреди огромной комнаты стоял стол, за ним сидела стареющая, но всё ещё красивая женщина. Кожа как снег, волосы собраны в аккуратную русую косу, выразительные серые глаза внимательно ловят каждое движение.

– Заходи, Олави, познакомься, это Мария. – Скрипела бабка Ханнеле.

– Здравствуйте! – гостя поднялась с места, но поймав на себе колючий взгляд шамана, тут же уселась обратно.

Олави нахмурил кустистые брови, фыркнул и пододвинул к себе табуретку, уселся подальше – показать своё нарочитое нежелание говорить.

– Откуда ты такая взялась здесь?

– Я из Швеции приехала, срочным рейсом. Сюда пришлось на попутках добираться. Красиво у вас тут, но ни проехать, ни пройти.

– И хорошо! А то глядишь, каждый раз кому-нибудь да нужен буду. Далеко племянник этой карги забрался. Чего хотела-то? Ханнеле говорит, тебя там что-то «по моей части» интересуется.

Глаза Марии наполнились слезами и стали похожи на два глубоких озера, впрочем, длилось это всего секунду. Женщина собралась с силами, сморгнула свою скорбь и продолжила.

– Сын ко мне по ночам приходит. Говорит – потерялся, теперь в какой-тёмной и холодной стране обитает. Мёрзнет... – голос Марии дрогнул. – Каждый раз как приходит во сне – возле костра сидит, а согреться не может.

– Х-ха! – хохотнул Олави и тут же ойкнул: бабкин кулак больно ударил под рёбра. – Здесь начинается Похьёла, отсюда и до севера Норвегии и Швеции. Это сейчас на картах три разных страны, а в старину это была наша с саамами земля. Умер твой сынок. Если не похоронили по христианским обычаям, или вдруг где-то в лесах закоченел – всё, дух его Манала забрала. Оттуда до снов живых – всё равно, что рыбу рукой в озере поймать: тяжело, но возможно. Кем сын-то твой был?

– Лёшенька мой... Романтичный мальчик! Мы ведь из русских дворян... Как гражданская война началась, эмигрировали в Швецию. Жили как прежде – бед не знали, муж обжиг керамики наладил, открыл цех в двух километрах от Гётеборга. А Лёшеньке, ему всё это противно было... Бывало, сидит вечером, настроит радио и слушает пламенные речи коммунистов. Сбежал в Россию, а потом пропал, прямо перед Зимней войной. Шесть лет уже ни сна, ни покоя!

Лицо Олави впервые за весь разговор приобрело выражение, и выражало оно брезгливость.

– Рюся, значит. Ну если рюся, быть может и я его положил, из этой самой трёхлинейки, – Олави похлопал по винтовке у себя на коленях. – Я не Симо Хяюхя, чтобы считать

красные звёзды, но вашего брата знатно побил. Если и правда я его в Маналу отправил, прошу прощения, но война есть война...

– Я всё понимаю, Олави. Понимаю и не виню тебя. Но как мне его вызволить из этой Маналы? Если он не перестанет мне сниться, то меня саму скоро придётся хоронить...

– Ничем не могу помочь. А теперь извините, мне пора.

Олави крякнул и поднялся с табурета, опираясь на винтовку как на трость. Шаман неуклюже зашлёпал к выходу, в спину ему прилетело истеричное «пожалуйста». Он обернулся и увидел Марию, всего за мгновение её лицо сделалось пунцовым, сопли и слёзы смыли былую выдержку.

– Пожалуйста, шаман, умоляю тебя – помоги! Я заплачу, у меня есть деньги.

– Деньги мне не нужны, – ответил шаман, набивая трубку свежим табаком. – Моё богатство вокруг меня. Лес, озёра, рыбы и звери, всё это дороже любых денег.

Олави ухмыльнулся и направился было к выходу, как рыдающая русская женщина снова его остановила.

– Твоя сестра, она живёт в Хельсинки, я знаю! Коммунисты отобрали у неё ферму под Хаминай в сороковом году. После Зимней войны эта ферма перешла в муниципальную собственность. Я... У меня есть связи в парламенте, я могу помочь с документами. Ферма вернётся твоей сестре.

Лихая ухмылка спряталась под тяжёлыми усами, Олави нахмурился, пыхнул трубкой и покачал головой.

– Ох уж эти руссы... Изворотливые, что твой уж! И что мне теперь, на слово поверить? Какие гарантии дашь?

– Вот, – женщина достала из кармана пожелтевший листок бумаги с расплывчатой синей печатью. – Это выписка из кадастрового реестра. До сорокового года у фермы владельцем числится Ани-Лийна Паавинен. Я позвоню юристам из Стокгольма, они соберут все нужные документы и приедут в Хельсинки. Как залог – я отдам тебе свой паспорт, без него мне не продадут билет на поезд. Как дело сделаешь – поедем в Хельсинки.

– Складно говоришь, Мария. Хотел бы я тебе верить, да не получается. Ладно, схожу я в Маналу, спрошу о твоём сыне у мёртвых. Но если обманула, пеняй на себя...

– Спасибо, спасибо, я так тебе благодарна!

Женщина бросилась на Олави, желая заключить его в объятия, но шаман легонечко оттолкнул от себя эмоциональную дворянку.

– Не ради тебя я туда пойду, ради сестры. Ей в городе плохо.

– Когда мы выходим? – Мария утирала слёзы.

– Мы? Нет-нет, я иду один, ты останешься здесь.

Угрюмые сосны обступили лужайку. Над низкими небесами тускло поблескивало тёмное солнце, холодный синий снег укрыл лес толстым одеялом. Мария вышла к костру и оглянулась: никого. Протянула руки к очагу и поёжилась, языки пламени обжигали холодом.

– Я здесь, маменька, обернитесь!

Она обернулась и вскрикнула: перед ней стоял высокий светловолосый человек в расхристанной шинели. На грязном сукне виднелись дыры от пуль, покрытые алым инеем.

– Не могу согреться, маменька, – солдат шагнул в костёр, ледяные языки пламени побежали по униформе, оставляя иней на ткани, лице, руках... Воздух трещал от мороза. – Так холодно! Заберите меня, прошу!

– Сынок! Лёшенька, любимый мой, родненький! – Всё поплыло перед глазами.

– Чего орёшь? – Над Марией нависло скуластое курносое лицо. Саам ткнул оленей хореем, и они побежали быстрее.

– Кошмар приснился. Каждый раз один и тот же...

– Кошмары это плохо, мне тоже снятся иногда. Потом весь день будто переваренная форель...

Мария дала Олави полтора дня форы, а после заплатила местному погонщику оленей и велела ему запрягать сани.



Старый шаман, судя по всему, не был человеком особенно осторожным. Следы его бороздили глубокий снег, цепочка шла прямо, никуда не сворачивая. Саам по имени Рисстин оказался опытным следопытом. По отпечаткам широкоستопых унт он определял, как давно здесь был шаман.

– Вон, гляди, видишь – тут веточка сломана, а снегом не замело, – говорил Рисстин. – Полдня назад здесь был Олави. – Саам то подгонял оленей, то тормозил, чтобы держать дистанцию.

К полудню вторых суток пути упряжка налетела на камень, сани перевернулись и испуганные олени чуть не разбежались в разные стороны. Саам отказался ехать дальше.

– Не пройдут здесь сани. Только пешком надо. Всё, дальше сама.

– Но как же я... Ночью в лесу.

– Ты иди по следам Олави. Между вами час-полтора пешего хода. Нагони и держись чуть поодаль. Он старый, подслеповатый. А ночью к костру выйди, так, мол, и эдак. Шаман хоть и ворчун, да тоже человек, одну тебя не оставит.

На том Рисстин был таков. Мария тоскливым взглядом проводила саама, вздохнула, да и пошла потихоньку, след в след за Олави. Весь день шла, натёрла ноги до кровавых мозолей, но всё шагала, упрямая. И умереть бы ей посреди этих заснеженных лесов в глупой попытке догнать матёрого шамана, но удача была на её стороне! Где-то вддали послышался громкий хруст снега, поступь тяжёлая – ни с чем не перепутаешь: Олави, родненький! Шаман шагал степенно, вразвалочку, будто шёл к себе домой, а не брёл по девственному безлюдному лесу. Мария сократила дистанцию, но всё же предпочла держаться подальше.

Олави всё брёл и брёл, без усталости, как медведь-шатун, он мерно шагал, оставляя в снегу глубокие следы. Как занялась вечерняя заря, шаман принялся ломать сухие сосновые ветки, подбирать валежник и складывать у подножья большого камня. Целая куча дров набралась! Олави поглядел на свою работу, пробубнил что-то себе под нос, сел на корточки и достал из заплечного мешка маленького зайчика. Крошка, должно быть несколько недель отроду, испуганно нюхал воздух, прижав ушки.

Шаман поцеловал зверька, попросил у него прощения, а сам как заправский волк одним щелчком челюстей откусил зайчику голову. Кровь брызнула яркой струйкой, и Олави поспешил окропить ею камень. Следом положил на холодную глыбу бездыханную тушку и запалил костёр.

– О, отец тёмный, Туонен-укко, – запел шаман. – Жизнь эту невинную возьми, это мой дар тебе. Дай мне пепел, чтобы обтёр я им ноги – прийти к тебе, оботру лицо и узнаешь ты брата во мне, руки испачкаю – чтобы дверь в твой дом отворить!

Олави уселся прямо на снег, запалил трубку и стал терпеливо ждать, пока тушка зайчика не превратится в чёрные угольки. Когда перестало вонять палёной шерстью, шаман лениво поднялся, растолкал палкой горячие головни и навис над камнем. Из кармана он извлёк короткий нож пууко, резанул по пальцу и нацедил в ладонь алой юшки. Второй рукой взял в щёпот горстку пепла и растёр в руках, измазал унты и оставил отпечатки на широком лице. Крякнув, шаман зашагал вокруг камня, сделал один круг, второй, а потом исчез, просто растворился в воздухе.

Мария бросилась со всех ног, боясь упустить след шамана. Обежала камень по кругу – ничего. Следы обрываются на третьем витке. Остался только один способ догнать Олави – повторить его ритуал.

Женщина подняла с земли сухую ветку шиповника, оторвала шип и с силой вдавила в палец, на кончике мизинца собралась густая капля. Кап-кап-кап: лужица в ладошке. Мария обмазала кровавым пеплом ноги, лицо, и пошла вокруг камня. Один круг, второй, третий; тьма сгустилась и обволокла покрывалом, потащила куда-то сквозь невидимое пространство, пахнущее землёй, червями и гнилью, а потом выплюнула с силой. Мария открыла глаза и увидела реку на дне ущелья, над пропастью висел ветхий верёвочный мост. Крепкий морозец кусал за щёки, но лёд отчего-то не смог запереть полноводный поток. Острые, будто пики, волны то и дело выпрыгивали над гладью, вода бурлила и шумела. Любой мог найти могилу в этих беспокойных водах, но только не Олави: шаман аккуратно шёл по воде, оставляя на поверхности грязные следы.

Кромка острой волны нет-нет, да щекотала пятки Олави, но старый шаман знал наверняка: соблюдаешь правила – Манала тебя не тронет. Он неторопливо брёл, уверенный в собственной невредимости. На том берегу его поджидало жуткое чудовище: голый по пояс здоровяк, лысый, как гладь озера, он не мог сомкнуть челюсти – мешали длинные железные зубы. Человек (?) с полным ртом острых кинжалов правой рукой удерживал трёх здоровенных псов, каждый в холке выше Олави.

- Уввв-мвмв-выв! – монстр приветливо замахал ладонью-лопатой.
- Здравствуй, Талонмиес!
- Вым-бым-бым!!! – Талонмиес сложил пальцы кольцом и щёлкнул себя по шее.
- Хо-хе-хе! С собой, с собой. На клюкве настаивал. На стаканчик-другой время есть.

Талонмиес привязал псов к исполинской сосне, и, хлопая в ладоши, поманил за собой Олави.

В сторожке пахло сосновой смолой и свежим снегом. На столе лежала туша оленя, закопчённая целиком. Кинжалозубый Талонмиес достал стаканы, Олави разлил настойки. Выпили-закусили, потом ещё и ещё, пока бутыль не оказалась пуста.

– Хороший ты сторож, Талонмиес, – хохотнул Олави. – Пьёшь на работе! Ладно, посидели-отдохнули, а теперь идти пора. Будь бдителен, здоровяк!

Талонмиес пожал плечами и одним щелчком откусил от оленьей туши добрую треть.

Олави вышел из сторожки и неторопливо побрёл к воротам, а те стояли чёрные, тяжёлые и неподвижные. Шаман положил ладонь на одну из дверей, отпечаток широкой пятерни загорелся синим в глубокой обсидиановой черноте, ворота задрожали и раскрылись. По ту сторону сосны кривились над тропинкой, сплетаясь причудливым тоннелем. Пронизывающий, нездешний мороз пробирался сквозь швы и щели одежды. Шаман набил трубку и закурил; с живым огнём здесь как-то легче дышится.

Снег хрустит под ногами, непуганные зайцы то и дело пересекают тропинку, сова сердито ухает откуда-то из глубины чащи. За это и любил шаман Маналу: сколько не ходи, ничего не меняется в стране мёртвых. Это там, на поверхности люди множатся, воюют друг с другом, строят высокие дома, заводы, верфи... Среди мёртвых спокойнее, что-ли.

– Эй, Паавинен, погоди! – рядом с тропинкой горел костёр, вокруг него уселись мертвецы: финны, русские в старой и новой форме. Молодой черноусый парень в рваной гимнастёрке тянул руки к шаману.

– Чего тебе, рюсся? Я тороплюсь.

– Минутку послушай, всего одну! Паавинен, будь ты человеком...

– Ну...

– Напиши письмо моим родителям в Воронеж, скажи – помер их Ванька, лежит в тайге лапландской. Они ведь ни сном, ни духом, Паавинен. Они слишком далеко – не могу я до их снов дотянуться.

Шаман смерил мертвеца брезгливым взглядом, фыркнул, выпустив облачко табачного дыма.

– Вот ещё... Тебя, Ванька, кто сюда звал? Зачем воевать ехал? Знал ведь – убить могут, знал ведь – не за правое дело под пули лезешь.

– Не знал, Паавинен, ей богу не знал! Политрук обманул, сука... Я ведь даже и стрелять толком не мог, на две пары перчаток руки задубели. Напиши им письмо, сделай доброе дело, а адрес я тебе дам!

– Ишь ты, про бога заговорил. Вы же, красные, ни во что не верите? Уж лучше в Иисуса, чем в пустоту. Не буду ничего писать! Во-первых, я вашего языка не знаю, а во-вторых – ты своё заслужил. Сиди здесь и «грейся», хо-хе-хе.

– Ну ты и тварь, Паавинен, я ведь к тебе во сне приду! Я тебе свою смерть раз за разом показывать буду!

– Давай-давай. А я погляжу с удовольствием. Я люблю смотреть, как враги умирают. Испугал, тоже мне... Не ты первый, не ты последний.

Шаман устало зашагал дальше вглубь чащи. Вдоль тропинки горели холодные языки мёртвых костров: где-то собирались только русские солдаты, где-то одни лишь финны, немало было общих очагов, где собрались обе стороны. Непримиримые враги при жизни, в холодах

вечности воины простили друг другу все обиды. Смерть объединила их: не друзья, но верные товарищи по несчастью.

Олави шёл одной ему известной дорогой, петлял, кружил, кое-где сходил с тропинки и плыл сквозь глубокие сугробы. Возле небольшого холма шаман присел отдохнуть и услышал крик, настоящий, пронзительный, отчаянный. Шаман мог безошибочно различить голос мертвеца, но нет, сейчас кричал живой человек. Шаман опёрся на винтовку и рывком поднялся на ноги и неуклюже побежал на звук. Крики становились ближе, но вместе с тем и слабее. Со всех ног Олави нёсся сквозь колючий кустарник, закрывая лицо от кусачей ледяной пыли. Наконец, лес расступился и шаман оказался на поляне. От увиденного он недовольно крикнул: мёртвые красноармейцы крепкими руками вцепились в шубу Марии, сумасшедшей русской дворянки, и там где их пальцы касались одежды, оставалась белая пороша. Ещё немного, и женщина совсем превратится в ледяную статую.

– Эй, русья, а ну-ка расступись, – гаркнул шаман. – Моя это баба, не смейте морозить – она мне ещё должна!

– А ты отбери, Паавинен! – оскалился двухметровый детина в дырявой будёновке. – Силёнок-то хватит?

Олави схватил хама за руку, заиндевелая шинель загорелась под пухлыми ладонями.

– Ай! – вскрикнул мёртвый красноармеец, глядя на тлеющие отпечатки рук. – Больно, больно! – взмолился второй. – Мы всё поняли, шаман, отпускаем – отпускаем, только руки отбери. – Сказал третий, кожа его лица пузырилась под толстыми пальцами.

Жертвенный пепел уберёт, в который раз. Олави отвёл Марию в сторону от костра мертвецов, отряхивая иней с воротника её шубы.

– Ну ты и дура, – сказал он. – Нельзя к холодному очагу идти! У мертвецов свои дороги, и живым на них нельзя. Зачем припёрлась сюда, глупая баба? Я же велел ждать.

– Прости меня, Олави! Прости, не удержалась. Боялась – обманешь, боялась уйдёшь в лес и не вернёшься. Местные говорят, ты и год можешь домой не возвращаться, – женщина упала на колени и зарыдала. – Как же здесь страшно, господи, до чего жутко...

Позади раздался треск ломающихся веток, чавкающие звуки и испуганные голоса: кричали мертвецы. Мария и Олави одновременно оглянулись и стали свидетелями кровавой расправы: чернолицый и темноволосый мужчина, невероятно крепкий, широкий в плечах, голыми руками рвал красноармейцев. На мертвецах трещала одежда, жуткий крепыш тянул из них верёвки кишок, давил черепа как спелые арбузы, ошмётки старой, запекшейся крови летели в разные стороны. Но по какому-то злему волшебству у красноармейцев головы собирались заново, кишки змеями ползли обратно в разорванные животы, алая взвесь лезла в порванные вены, ниточка к ниточке сплеталась ткань. Это ужасно забавляло чернолицего, и он снова затеивал свою кровожадную игру.

– Чего разорались, а? Что вы тут устроили, жабы краснопузые? Ух, люблю когда орут, но не так орать надо. Вы же знаете? Знаете! – прорычал чернолицый. Это был Туонен-пойка, сын повелителя Маналы. Он жадно втянул ноздрями воздух и тут же потерял интерес к мертвецам. – А, Паавинен, рад тебя видеть, друг!

– И я тебя рад, Пойка. Нам бы до Калмы добраться. Мы тут что-то с этими русья малость заблудились.

Туонен-пойка одним прыжком оказался возле Марии, чернолицый был так близко, что она чувствовала его крепкий запах, запах земли и гнилого дерева.

Кончик длинного, вострого носа едва не касался нежной розовой щеки, широкие чёрные ноздри втянули воздух.

– Мммм, свежая. Где-то я чуял похожий запах, только гнилой, но совсем как твой!

– Как мой? Вы знаете, где мой сын?

– Я? Нет, не знаю. А может и знаю, не помню. Ммм, как ты пахнешь! Разреши кусочек откусить? Всего один!

– Пойка! – Олави указал толстым пальцем на лицо Марии, измазанное кровью и пеплом. – Ты знаешь правила. Она сюда как гостя пришла, не тронь!

– Ладно, ладно, ладно! Скучные-то какие, кислые вы! Фу! Забыл. Куда вам там надо было?

– К чертогам Калме. У меня для неё есть кое-что.

– Ух ты! А мне покажешь? Покажи, шаман, ну! Что-то? ЧТО-ТО! То-то-то-то! – Туонен-пойка вывернул лицо наизнанку, фыркнул, и всё снова вернулось на место. Марию едва сдержала порыв горькой тошноты. – Ах-хаха, нравится? Конечно же, нет...

– Пойка, – голос Олави приобрёл тон нянечки, наставляющей непослушного мальчугана. – Нам нужно к Калме, пожалуйста, подскажи дорогу.

– К бабке... Уверены? У неё скучно... – Пойка присел и совсем как пёс почесал ногой за ухом. – Идите прямо до раздвоенной сосны, слева будет тропинка, по ней прямо до чёрного отторженца, а в нём дверь. – Пойка разочарованно вздохнул. – Только я с вами не пойду, скукотища. Я вас предупреждал! Пойду лучше мертвецов помучаю. ТОЧНО! Мозгами играть-швырять, как же я раньше не догадался-то? – С этими словами сын хозяина Маналы помчался сквозь лес, его дикий хохот испугал стаю ворон.

– Почему они все знают твоё имя? – спросила Мария. Бедняжку до сих пор трясло. – Неужели ты с ними со всеми знаком?

– И да, и нет. – Олави загадочно улыбнулся. – Видишь ли, в Маналу попадают не только мертвецы, но и знания. Всё, что кто-то когда-то сказал, придумал или предположил, рано или поздно оказывается здесь. Среди живых в Похьёле много людей, кто знает и помнит меня, вот и мертвецы узнают.

– Тогда почему никто из них не узнаёт меня? Я могла бы спросить о сыне!

– Потому что ты живёшь далеко от этих мест. В Маналу попадают все знания, рано или поздно. Но знания издалека приходят дольше, как письмо или бандероль. Да и кто о тебе кроме мужа вспоминает? Меня целая деревня боится и ненавидит, до мертвецов вести об Олави Паавинене как по телеграфным проводам долетают!

Они шли дорогой, что указал Туонен-пойка, вот уже показалась раздвоенная сосна. Мария шла за шаманом следом и всё пыталась понять, как тут всё устроено, взаправду ли с ней этот кошмар происходит или это всего лишь дурной сон?

Тропинку припорошило снегом, небо осыпалось крупными хлопьями. Тёмное, заспанное солнце клонилось к закату. Вдали показался огромный чёрный булыжник, один на всю округу, он будто надгробная плита торчал из пологого холма.

– Пришли, – буркнул Олави. – Будь вежливой, старуха заносчива, но справедлива. И не глазей на её ногти, она этого не любит.

Мария кивнула, и они устало побрели к холму. В огромном камне высекли глубокий проём, а в нём на толстых петлях висела железная дверь. Олави с силой ударил кулаком, изнутри отозвалось гулкое эхо. Шаман ударил ещё сильнее и с той стороны послышался скрипучий старушечий голос:

– Угомонись, Паавинен! Иду уже, не надо мне тут грохотать.

Дверь со скрежетом отворилась, в проёме показалась высокая, невероятно худая фигура. Внутри отторженца был длинный коридор, несравнимо длиннее самого камня, он простирался на добрые полкилометра. Из дверного проёма наружу лился холодный бело-лунный свет.

Мария глянула на руки старухи: каждый узловатый палец карги заканчивался изогнутым, острым на вид серпом. Тут же вспомнилось наставление Олави, и дворянка поспешила отвести взгляд.

– Чего припёрся?

– Что-то ты не особенно гостеприимная сегодня, Калма.

– Так а ведь ты хоть раз пришёл просто так? Поболтать, вечер старухе скрасить? Нет! Всё за чем-то ходит, за делами! Того и гляди, скоро в привычку войдёт.

– Будет тебе, хранительница. Я ведь не с пустыми руками.

– Ещё бы... – ответила Калма сердито.

Олави скинул заплечный мешок, достал из него матерчатый свёрток и передал старухе. Калма аккуратно развернула ткань, её пальцы были удивительно ловкими, будто и нет длинных ногтей-серпов.

– Кованые гвозди и столярный клей! А я как раз думала гробы подлатать, ах, балуешь, Паавинен. Ладно, проходите – чего встали?

Дверь ухнула и захлопнулась. Коридор уходил глубоко под землю, воздух был тяжёлый, спёртый, снизу тянуло могильным духом.

– Сына, значит, ищешь? Правильно, что ко мне сначала. Только у мертвецов ты зря пыталась спросить, они хоть и знают о твоём сыне, но где он сказать не могут, ибо здесь они обречены вечно плутать по своим дорогам, от костра к костру. Так, пришли.

Они остановились посреди просторного земляного грота. Под потолком, плотно подогнанные друг к другу, торчали крышки гробов. Только сейчас Мария осмелела, чтобы разглядеть старуху: та была высоченная, самый высокий мужик ей по пояс, тощее тело обмотано чёрными тряпками, иссушенное чёрное лицо с острым подбородком и длинным-предлинным носом. Калма склонилась над дворянкой и жадно втянула воздух.

– Швецией пахнешь, хоть и русская. Сын твой с коммунистами тёрся, их запахом напился. Тяжеловато будет найти. Та-ак.

Калма выпрямилась во весь рост и стала похожа на чёрный тополь. Руки её слепо шарили по потолку.

– Вроде здесь похожий запах есть... – Калма дёрнула крышку гроба и на пол посыпались мертвецы, целый дождь – один за другим. Среди них были люди в простой крестьянской одежде и солдаты в финской и советской форме. Они медленно, словно сонные мухи, шевелились на утоптанном земляном полу.

– Узнаёшь кого-нибудь? – спросила Калма.

Мария, охваченная ужасом, наблюдала, как покойники хватают ртом воздух, барахтаются, перепачканные в земле. Эти мертвецы были ещё ужаснее тех, что она видела возле ледяных костров: гнилые, беззубые, с обнажёнными костями и вываливающимися внутренностями.

– Чего застыла, Мария? – Калме чиркнула ногтем-серпом по ржавой каске одного из солдат. – Узнаёшь кого?

Мария, не в силах вымолвить и слова, отрицательно замотала головой.

– Куда поползли, касатики, а ну живо домой! – старуха не церемонилась. Она сгребла мертвецов в охапку, будто соломенные куклы запихала их обратно в гроб и с силой захлопнула крышку.

– Тут нет моего Лёшеньки. – сказала Мария бесцветным голосом. – Он ко мне во снах другой приходит, без земли и червей... возле костра.

– А! Они во сне могут прийти такими, как захотят, облику верить нельзя. То, что сын твой здесь – это я знаю, не могу не знать. А вот где именно, тут искать надо. Так, что тут у нас? – Калма дёрнула очередную крышку, мертвецы со звонкими шлепками посыпались на землю. Но и в этот раз никто из них не признал в Марии мать. Ошарашенные, растерянные покойники

расползались в стороны, источая невыносимый смрад. Искалеченные, вывернутые наизнанку, ополовиненные тела оставляли за собой грязные и мокрые следы.

– Снова нет? – Калма почесала подбородок кончиком ногтя. – Значит и в других братских могилах его не будет. Не чую больше похожего. За подарки спасибо, но больше помочь ничем не могу.

Старуха запиховала в гроб последнего мертвеца: тот растопырил изуродованные ноги и руки, отказываясь возвращаться в могилу. Калма сердито цокнула, да рассекла бедолагу пополам одним взмахом ногтя.

– Вам к Туонен-укко надо... Жаль мне тебя, Мария. От тебя праведным светом пахнет. Нет помысла чище, чем желание матери спасти своё дитя! Будь готова ко всему, Мария. Туонен-укко всегда требует высокую цену! А теперь уходите. – Калма открыла одну из крышек гробов и с лёгкостью забросила в разверзшуюся черноту сначала Марию, а затем и Олави.

Бездна, чернота и сырость, а затем белый свет. Мария и Олави очнулись в овраге: снега по пояс, за шиворот попало и в сапогах мокро. Повсюду горят костры мертвецов. Обитатели Туонелы лениво наблюдали за тем, как толстяк и худосочная женщина нелепо барахтаются в снегу. В этой части царства мёртвых обитали души предков, благообразные старики и пухлощёкие женщины. Они умерли задолго до того, как крестился первый финн. Говорят, среди них был и сам Вяйнямейнен, герой древних мифов, первый живой человек, рискнувший войти во владения бога Туони, или Туонен-укко, как его чаще называли. Местные духи не были пленниками Маналы, но провожали счастливую вечность. Здешные реки переполняла рыба, в лесу в достатке водилась птица, олени и кабаны. Сей край не походил на те мрачные, безысходные земли, что видела Мария в начале своего путешествия. Здесь находился особенный, северный рай.

– А, Паавинен пожаловал. – Сказал крепкий седобородый старик в белой рубахе. Он сидел возле костра, и здешний огонь согревал. – Всё тебя к мёртвым тянет, не живётся по-человечески.

– Не по своей воле, в этот раз. Нужно одного рюсся найти. У Калмы его нет.

– Так вам к отцу Туони нужно. Он-то знает наверняка.

– Ох, спасибо тебе, дедушка. Без тебя бы точно не справился! – съязвил Олави. – Всё, бывай, некогда болтать с тобой.

– Иди-иди, шаман. Надоел ты уже, приходи пореже что-ли.

На том и распрощались.

Олави и Мария шли молча: белая излучина дороги петляла меж соснами, взбиралась на холмы и спускалась в овраги. Удивительные по своей красоте места! Даже праздничная Лапландия, дремлющая под снежным покрывалом, не могла сравниться со светлой частью Маналы.

– Зачем ты ему нахамил, Олави? Могли бы и дорогу спросить у дедушки...

– Много ты понимаешь! Здесь мы сами дорогу найдём. Это в тёмных краях Маналы всё устроено так, чтобы мертвецы плутали, мучились и не могли сбежать. Здесь духи всегда могут найти любую дорогу – стоит им пожелать. Им даже разрешается покидать мир мёртвых и навещать живых. Вот только время тут по-другому устроено. Тебя сюда никто не звал, ты ничего не знаешь про этот мир, поэтому и выводы мне твои не нужны. Хочешь увидеть сына?

– Хочу... Больше всего на свете хочу!

– Тогда иди следом и помалкивай. Увязалась на мою голову!

Мария послушалась. Слезы душили, хотелось кричать от страха и отчаяния, неизвестность угнетала: найдёт ли Туони её Лёшеньку? Покажет ли где лежат его кости, там, посреди

лапландских лесов? Найдутся ли у матери силы собрать останки сына и похоронить по православному обычаю.

Марии казалось, будто они с Олави стоят на месте, а дорога сама несёт их сквозь тёмный ельник, сквозь холмы и сугробы, через заиндевевшие камни. Снежная излучина нырнула под землю, повела шамана и дворянку сквозь толщи почвы, одежда цеплялась за корни, земля сыпалась за шиворот. Дорогой дождевого червя они добрались до просторного земляного грота. Здесь было тепло и пахло грибами.



Когда глаза привыкли к темноте, Мария различила коренастую фигуру верхом на троне, сделанном из огромного узловатого пня.

– Здравствуйте! – сказал некто и встал с трона. Он медленной, вальяжной походкой двинулся вниз по земляным ступеням и остановился в полушаге от Марии и Олави.

– Ах, где мои манеры, – спохватился большой человек. – Вы же не привыкли к темноте.

Он щёлкнул пальцами, и каждый корень, каждая узловатая палка, что торчали из глиняных стен, превратились в факелы. Грот наполнился тяжёлым оранжевым светом.

– Значит, за сыном пришла?

Мария молчала. Страшный чёрный человек, замотанный в грязные шкуры, ходил вокруг неё и шумно нюхал воздух.

– О, владыка Туони, – сказал Паавинен с почтением. – Дозволь я за неё говорить буду. Несчастливая баба и так всего насмотрелась.

– Ну...

– Отпусти её сына из Маналы. Не место ему здесь, пускай в свой христианский ад уходит. Ты его крестила? – Олави обратился к Марии, и та закивала в ответ. – Значит вероотступник,

предатель. Отпусти его душу, Туони. Я для тебя дюжину жертвенных костров разведу, всё в один день, клянусь!

– Дюжину? Дюжина это хорошо. Но только правила одни для всех: всё, что попало в Маналу в ней и останется, разве что только обмен возможен...

Мария встрепелась, в её глазах загорелся огонёк надежды.

– Я на всё согласна, Владыка, что угодно отдам, лишь бы сын не мучился...

Туони широко улыбнулся, сверкнув острыми зубами-иглами. Длинный крючковатым пальцем он крутил завитки бороды и гадко причмокивал.

– Обмен должен быть равноценный, русская. Оленя на оленя, собаку на собаку, человека на человека...

– Забери меня, Туони! Только сына отпусти, умоляю тебя... – женщина упала на колени и зарыдала.

От возмущения у Олави перехватило дыхание: если русская обменяет себя на сына, кто же поможет его сестре вернуть ферму? Обманула... Рюсся есть рюсся, хоть в масле изжарь!

– Идёт! – Туони хлопнул в ладоши. – Мне здесь как раз женщины не хватает. Одна солдатня в последнее время: кто в бою погиб, кто замёрз насмерть. А баба это хорошо... Будешь мне кровяной суп варить! В пещере будешь подметать, ты вроде ещё ничего, и в койку тебя можно!

Мария всхлипнула и понуро опустила голову. Олави злобно выпучил глаза и покраснел как варёный рак. Он крепко сжал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не наподдать обманщице как следует.

– Рюсссяя... – только и смог прошипеть Олави.

Туони метался по углам. Совсем как большой пёс он копал ямки, совал в них нос и принюхивался. Бегал по стенам, потолку, спрыгивал обратно на пол.

– Нашёл! – воскликнул Туони. – Здесь его костёр!

Туони стал копать яростнее: комья чёрной земли летели в стороны, ямка превратилась в яму и в пещеру хлынул холодный голубой свет. На мгновение в земляном потолке показался кусочек хмурого северного неба, затем что-то шлёпнулось оземь. Яма затянулась, словно зажившая рана. В куче грязи зашевелилось, сырая почва чавкала и булькала, из неё, совсем как бабочка из кокона, выбрался парнишка лет двадцати в грязной изодранной шинели. Он поднял голову, протёр запястьями глаза и виновато улыбнулся.

– Мама!

– Алёшенька, сынок! Господь всемогущий, я тебя нашла. – Мария прижимала голову сына к груди, его волосы пахли могилой

Радость встречи оборвал Туони. Он грубо отпихнул Марию от Алексея. Зубами-иглами владыка впился в шею женщины и принялся сосать кровь. Кожа Марии тут же сделалась белой как простыня, по её одежде побежала ледяная корка.

Туони продолжил своё колдовство. Он сгрёб парня в охапку, с силой надавил ему на скулы, заставляя раскрыть рот. Алёша повиновался, он крепко зажмурился, чувствуя как в него вливают что-то горячее. Туони изрыгал кровь его матери.

– Владыка! – взревел Олави. – Рюсся меня обманула! Она обещала помочь, а сама... – у толстяка сбилось дыхание. – А сама себя обменяла.

– Не тяни время, шаман. Утомили вы меня сегодня! Говори – чего надо или проваливай.

– Ты сам говорил о законах Маналы. Равноценный обмен! Я привёл сюда человека, я должен отсюда уйти с человеком. Эта женщина меня обманула, а значит, я могу забрать мальчишку себе.

– Х-ха, справедливо. Но зачем тебе этот молокосос?

– Я старый, мне осталось недолго, владыка. Скоро останусь в Манале навсегда. Боги не послали мне женщину, чтобы зачать потомка. Не случилось у меня детей, некому знания передать. Времени осталось – как раз молодого шамана воспитать. Забери его память, она мне ни к чему.

Мария, обескровленная мёртвая Мария, стояла в стороне и не смела пошевелиться от горя и ужаса. Только сейчас она начала понимать что произошло.

– Алёша! – вскрикнула Мария.

Парень оглянулся, посмотрел на мать большими серыми глазами и не узнал её.

– Где я? – спросил он у Олави.

– Ойва, сынок, это доброе место, к нему привыкнуть нужно. Пойдём, нас дорога ждёт!

– Папа?

– Пойдём, пойдём! Но мы ещё вернёмся, когда придёт время учиться у духов.

Мария хотела броситься следом, но железная воля хозяина Маналы держала её на месте. Она понимала, что, возможно, ещё не раз увидит Алёшеньку, но это будет уже не её сын.

Шаман и молодой парень в рваной шинели прошли сквозь земляную стену и были таковы. Факелы погасли, всё вокруг опутали тьма и холод...

Бабка спрыгнула с саней, её безразмерные валенки хрустко примяли снег.

– Ну Рисстин, ну дуралей! – ругалась Ханнеле по-саамски. – Как ты на это согласился? О чём думал, когда её в лесу оставлял, она же городская!

– А что я? Она денег дала... Нет, ну могла бы и не идти, я тут причём?

Бабка махнула рукой и торопко зашагала сквозь сугробы. Рисстин словно виноватый пёс плёлся следом.

– Ну прости Ханнеле, ну не подумал.

– Бог простит! И у Марии прощения просить будешь, если жива осталась...

И будто в насмешку бабкиным словам среди вековых елей, опершись спиной о камень, сидела мёртвая дворянка.

Ханнеле сунула ладонь за пазуху и нащупала православный крест, правой рукой перекрестилась.

– Померла, горемычная... Глупая, сквозь лес за старым бродягой увязалась. Замёрзла...

Рисстин, стоявший всё это время в сторонке, почесал опухшее от пьянки лицо, протёр запястьями глаза и увидел далеко за деревьями две фигуры: коренастый и широкий в плечах человек вёл за собою длинного, худого как жердь спутника.

– Да это же Паавинен! Эй! Олави, иди сюда, Олави! Помощь нужна...

Двое остановились, глянули в сторону Рисстина и Ханнеле, спустя всего мгновение коренастый громко свистнул, и в небо взмыла стая ворон. Когда в лесу снова воцарилась тишина, а птицы разлетелись в разные стороны, парочки и след простыл.

– Чертовщина! – сказал Рисстин и перекрестился.

Они с Ханнеле закинули закоченелое тело на сани, развернули упряжку и дали оленям кнута. Нужно добраться в Киттиля до темноты.

Александр Лебедев

Маленький Арье и его ангел-хранитель

Женская кровь была, почему-то, менее соленая, чем мужская. А кровь младенцев противно пахла молоком, напоминая о мерзкой молочной каше, которой пичкала маленького Арье тетушка Ципи по утрам. К сожалению, этот привкус теперь должен был сопровождать мальчика всю оставшуюся ночь, потому что младенец, как назло, был последним в очереди. Утерев окровавленный рот рукавом курточки, Арье с досадой сплюнул сгустки детской крови на пол разгромленной квартиры и прорычал:

– Надеюсь, ты насытился?

Ответа не последовало. Значит, насытился, решил мальчик и вышел из квартиры, осторожно перешагнув через растерзанный труп юной матери, которая, к слову, даже не пыталась защитить своего ребенка, швырнув его в лицо своему убийце и бросившись бежать. Далеко она, конечно же, убежать не смогла, и теперь распласталась в нелепой позе, с развороченными ребрами, в луже собственной крови и нечистот, вырвавшихся из так некстати лопнувшего кишечника.

Когда собственная кровь в жилах перестала кипеть, а глазам вернулось обычное зрение, ни капли не помогавшее найти в кромешной тьме нужную дорогу, Арье стало больно. Не физически, конечно, но в душе. Он плохо понимал, что он делает посреди Кракова, абсолютно один, и почему его руки перепачканы чем-то липким и красным. И что за странный вкус у него во рту? Неужели он разбил губу или прикусил язык? Арье, однако, несмотря на полную дезориентацию, каким-то образом дошел до четырехэтажного доходного дома, на углу улицы Святого Себастьяна, и незаметно забрался по стене в окошко своей комнаты на втором этаже. После чего, внезапно, наступило утро, застигшее его в собственной постели, в пижаме, под теплым мягким одеялом. Снизу доносились шаги и тихое пение тетушки Ципи, готовившей, судя по ужасному зловонию, своё фирменное блюдо – овсяную молочную кашу.

– Ари, малыш, ты что, опять воротишь нос от моей стряпни? – с наигранным возмущением воскликнула тетя, плюхнув в фарфоровую чашку, стоявшую перед мальчиком, большую плоскую овсянки. Вытерев обжигающие брызги с лица, Арье принялся усердно ковырять дурно пахнущую пищу ложкой, с раздражением выслушивая очередную повесть тетушки о воспитанных английских детях-аристократах, которым эта тошнотворная каша подается каждый день и, нет никаких сомнений, именно её употребление делает их столь умными, сильными и успешными.

– Погляди на Британскую империю, над которой никогда не заходит Солнце! – особенно убедительным тоном воскликнула тетушка, широким жестом проведя по воображаемой карте мира.

В этот момент в столовой появился чем-то весьма озабоченный папа мальчика, в нечищеном полицейском мундире, что говорило о его весьма раннем отбытии по срочным делам, еще до пробуждения Арье. При виде своего младшего брата тетушка всплеснула руками и, поняв по его лицу, что сейчас не время лезть к нему с расспросами, удалилась на свою зловонную кухню. Арье, однако, ничего такого не понял и потому поспешил узнать у отца, что приключилось такого особенного, что его, главного начальника полиции Казимежа, так рано вызвали на работу.

– Ничего страшного. Плохие люди хотели сделать кое-какую гадость, но мы их нашли и арестовали, – ответил папа, изобразив натянутую улыбку на необыкновенно бледном лице.

– Кушай свою овсянку, и поедем, я отвезу тебя в школу.

– На автомобиле?! – не веря своему счастью, воскликнул Арье, который ничто на свете не обожал больше, чем полицейский «фиат», на котором его отца возил по всяким важным делам угрюмый шофер с одним глазом. «Фиат» приятно пах бензином и кожей, а из окна можно было корчить рожи соседским хулиганам, Кшиштофу и Ойзеру, которые постоянно его задирали.

– На автомобиле, – глухо отозвался папа и отправился в ванную, чтобы привести себя в порядок.

Арье, на радостях, проглотил разом всю кашу, после чего вынужден был провести несколько минут в уборной, изрыгая пищу английских аристократов обратно, что лишней раз доказывало вранье тетюшки Ципи про её пользу. Ведь всем известно, что тошнить может только при отравлении. Однако мысли об автомобиле полностью затмили все физиологические проблемы, и, спустя четверть часа, мальчик был одет в школьную форму и, становившееся маловатым, серое пальто.

Вдруг раздался низкий, басовитый, звонок телефонного аппарата, висевшего на стене в кабинете.

– Пан Кацизне, слава Богу, вы не уехали! Это Мацей Берут! – выпалил взволнованный голос на том конце провода, когда отец Арье взял трубку.

– Простите, пан комиссар, тут ужасный инцидент на Йоселевича, в доме, рядом с будкой хромого сапожника Друцкого. Убийство. Семью молодую с грудным ребенком, будто звери порвали. В точности, как тех двух ребят накануне. И знак такой же, кровью, на стене, рядом с останками. И там, понимаете, ситуация с местными... Без вас никак.

– Боже мой... – произнес папа и вздрогнул, – Сержант, опечатайте место преступления и никого не подпускайте к нему!

– Слушаюсь, пан комиссар. Но вы бы подкрепление запросили в городском управлении. Тут толпа собралась...

– Без паники, я уже выезжаю.

По лицу отца Арье понял, что поездка на автомобиле сегодня откладывается, но не стал обижаться, а смиренно, как и подобает хорошему любящему сыну, произнес:

– Все нормально, папочка? Я, пожалуй, не буду тебя отвлекать и пешком дойду, как обычно.

– Что? – переспросил ошеломленный папа, оборачиваясь. Смерив сына настороженным взглядом, он покачал головой.

– Сиди дома, и чтобы носа на улицу не показывал. Ципи! Закрой, пожалуйста, за мной дверь на все засовы! Даже разносчикам не открывай!

– Конечно, папочка, – закивал мальчик, понимая, что происходит что-то из ряда вон выходящее. И принялся раздеваться под взволнованные оханья тетюшки.

Полчаса тряски по узким улочками еврейского квартала, и полицейский «фиат» уперся в разношерстную толпу, перегородившую дорогу. В основном здесь были пожилые граждане, которые, несмотря на возбужденный вид, не представляли никакой угрозы правопорядку. Когда комиссар выскочил из машины, то не услышал никаких гневных криков или призывов к волнениям. Напротив, стояла гнетущая тишина, еще более усиливающаяся из-за перешептывания столпившихся здесь людей. При виде начальника полиции по толпе прокатился приглушенный ропот, затихший где-то за углом.

На вопросы Кацизне все только отворачивались в сторону, и ему пришлось пробираться сквозь гущу людей, которые провожали его презрительным молчанием. У трехэтажного, покрытого трещинами, кирпичного дома с закопченными печными трубами, толпа была особенно плотной, обступив полукругом вход в него. Дверь в подъезд загораживали двое полицейских из местного участка, которые держали наизготовку винтовки и неуверенным тоном безуспешно требовали зевак разойтись.

– О, выкрест ублюбочный пришел, – раздался скрипучий голос из ближайших к входу рядов.

Кацизне обернулся, метнув гневный взгляд в толпу, но понять, кто именно сказал эти обидные слова, не представлялось возможным. Перекинувшись парой слов с усталыми посто-выми, стоявшими у входа на часах, комиссар вошел в старый дом. Продираясь сквозь плотный, пропитанный холодной сыростью и смрадом неисправной канализации, воздух, он поднялся на третий этаж по прогнившей лестнице и очутился у выломанной двери, сразу за которой начиналась кровавая баня.

– Не слишком похоже на случай с мальчуганами с Богуславского переулка, – заметил красноглазый, не спавший уже больше суток, криминалист, комично выглядевший с кисточкой и лупой на фоне комнаты, в которой стены, пол и потолок были обильно залиты кровью. Криминалист, осторожно ступив на порог квартиры, с инфантильным выражением лица рассматривал картину, от которой даже у комиссара пробежал мороз по коже.

– Здесь явно поработало какое-то дикое животное, как и в случае с мальчиками, – задумчивым тоном добавил эксперт, решительно пряча свои инструменты обратно в карман шинели, – Но, если мальчиков оно просто убило, то в данном случае животное питалось. Внутренности вывернуты наизнанку, но не съедены. Мышечные ткани, на первый взгляд, тоже на месте. Хотя, тут такой бардак. Точнее сказать может только патологоанатом.

– Вы очень помогли, пан Залевский, – сказал Кацизне скорее из вежливости, и указал на загадочный символ, глубоко высеченный на стене у окна и щедро залитый кровью для большей яркости, – Что скажете по этому поводу?

– Та же метка была нарисована на мосту, под которым нашли мальчиков. Вероятно, в Кракове завелся таинственный потрошитель, владеющий диким животным. Тигром или медведем, – не задумываясь, ответил криминалист и, хитро прищурившись, посмотрел на комиссара, – Мне кажется, неспроста всё это произошло в Казимеже. И символ на каббалистический похож. Или розенкрейцеры какие-нибудь, что, суть, одно и то же. Немало среди евреев любителей мистики, знаете ли.

– Мне следует радоваться, пан Залевский, что я старше вас по званию и ваши тонкие намеки меня, вроде как, не касаются? – нахмурился Кацизне, понимая, к чему ведет поляк.

– Вы – не из этого народа, пан комиссар. Да я и не обвиняю всех местных жителей. Но всем известно, что оккультные практики до добра не доводят. Мы же с вами, пан комиссар, рационалисты и придерживаемся научного мировоззрения. А человек, ведущий беседы с невидимым существом, не застрахован от того, что однажды невидимое существо начнет разговаривать с ним. И не важно, бородатый мужик на облаке это или император Наполеон Бонапарт. История знает немало примеров мистического опыта, переживаемого серийными убийцами, насильниками и прочими злодеями. Потому советую поспрашивать у старейшин, не были ли связаны жильцы квартиры с какой-нибудь оккультной чертовщиной. И про этот символ тоже. Очень уж он зловеще выглядит.

Однако, комиссар Кацизне никого из старейшин звать в квартиру не стал. Проследив за тем, чтобы место преступления старательно изучили и опечатали, он отправился в комиссариат Казимежа. Старый раввин, поджидавший его у выхода, обратился было с призывом убрать от дома полицию и предоставить евреям самим решать, что им делать со своим несчастьем, но комиссар только сердито бросил в ответ: «Я – еврей, и я уже решаю».

– Папа, правда, что Ойзер и Кшиштоф умерли? – спросил дрожащим голосом Арье за ужином. Тетушка Ципи шикнула на мальчика, но папа властным жестом остановил её и с серьезным видом ответил:

– Да, Ари. К сожалению, кто-то убил их вчера вечером.

– Они были плохими, папа, – сказал Арье рассудительным тоном, стараясь успокоить отца, – Я думаю, их наказал Бог за то, что они издевались над другими детьми. И надо мной.

– Что ты, что ты, Ари?! – всплеснула руками тетушка, – Как можно?!

– Это правда, тетя! – горячо возразил Арье, – Они обзывали меня и отбирали игрушки, и обед, который ты мне с собой заворачивала!

– Это не дает тебе права радоваться их смерти, Ари! – воскликнула тетушка, – Это – великий грех!

– Говори, Ари, – неожиданно потребовал папа, зыркнув на тетю так, что та сразу же испуганно замолчала.

– Папа, они говорили, что евреи едят... Дерьмо из туалета. И что я родился не у тебя с мамой, а у свиньи, на которой ты женился. И я очень на них вчера разозлился, папа.

– И что потом?

– Не знаю. Они хотели меня побить, но я убежал...

Вдруг Арье запнулся и уставился в центр стола расфокусированным взглядом. Он напряженно пытался вспомнить, чем же закончилась его стычка с двумя хулиганами, но всё было, как в тумане. Он помнил, как пришел в школу. И в его ранце, как обычно, не было обеда, который отобрали проклятые Кшиштоф и Ойзер. Но чувства его были какими-то другими. Не было обиды или злости. Да, точно, подумал Арье, вспоминая вчерашний день. Уроки прошли просто великолепно. Он лучше всех отвечал на уроках литературы и географии. На пении он прекрасно исполнил рождественский гимн про «крохотного Иисуса», а на гимнастике умудрился побить рекорд одиннадцатилетнего Лехи на целых три подтягивания, чем удостоился аплодисментов от учителя. Несомненно, решил Арье, такие необычные достижения просто так с неба не сваливаются. К тому же, после встречи с хулиганами, у него не осталось ни одного синяка. А теперь они еще и мертвы. Ну не удача ли?

Когда тетушка на сон грядущий рассказала Арье сказку про Горемыку и Черного лешего, подоткнула со всех сторон одеяло и поцеловала его в лоб, мальчик и не думал засыпать, хотя мысли в голове были уже налиты свинцом и кое-как ползали туда-сюда. Арье представлял себе удивленные и напуганные лица своих обидчиков, которых внезапно настигла кара за все их злодеяния. Конечно, пусть тетушка не одобряет его радости. Она-то не получала каждый день пинки в живот и не голодала до самого ужина. Но, всё-таки, мог ли Арье стать причиной смерти задиристых негодяев?

– Дедушка, неужели это ты мне помог? – прошептал Арье, нащупав пальцами на плече рубцы от старого ожога, из-за которого его папа когда-то чуть не убил и так умиравшего дедушку. И, с пожеланиями доброго сна витающей где-то на облачке дедушкиной душе, мальчик уснул.

Прошло почти три года с того момента, как Кшиштоф и Ойзер с Богуславского переулка перестали досаждать Арье. Мальчику исполнилось тринадцать лет, и он уже сам был грозой всех хулиганов в квартале. Нередко его звали драться за родной квартал с задаваками из Дыбников или с картавыми задирами из Казимежа. Само собой, никто уже не смел обзываться на Арье так, как обычно обзывали детей из еврейского квартала.

Но, несмотря на высокий чин отца, доросшего до младшего инспектора и сменившего старый «фиат» на роскошную «берлину», и хорошие оценки, Арье ожидал серьезный удар. Старый директор гимназии почил, а новый, прибывший из Варшавы, с начала учебного года принялся наводить свои порядки, касавшиеся, в основном, положения детей из Казимежа. В некоторых учебных заведениях Кракова уже давно выделили отдельные парты только для евреев, которые шутливо прозвали «лавковое гетто». Однако в классе, где учился Арье, еврей, о происхождении которого всем было известно, был только один, так что обособлять его посчитали глупым. Да и старый директор не слишком страдал предрассудками.

Однако, первое, что заметил Арье при переходе в следующий – третий класс гимназии – это отсутствие того самого еврейского ученика, Лёвы Гейзера, мальчика из богатой казимежской семьи, с которым Арье не слишком дружил, но и вражды к нему не питал. Лёва с гордо-

стью носил свои тонкие черные пейсы и богато украшенную ермолку, и не раз, по этой причине, вступал в противостояние с насмехавшимися над ним старшекласниками. Хотя, порой, сам нарывался на конфликт ввиду своего высокомерия к «гоям». Дело никогда не доходило до чего-то серьезного, и уж точно не тянуло на то, чтобы Лёву исключили из гимназии.

Как оказалось, именно это и произошло. Об этом объявил сам новый директор на уроке истории польского государства, преподавателем которой он являлся, сходу начав расписывать все те бедствия, которые обрушились на Речь Посполитую с момента трагической ошибки Казимира Великого, приютившего иудейский народ. В ходе своей, возмутительной для Арье, лекции пан Турович – так звали директора – упомянул и про судьбу Лёвы, а также еще двух десятков еврейских учеников из разных классов, исключенных из гимназии по его решению.

– А что же меня не исключили? Побоялись трогать? – глядя исподлобья на директора, спросил Арье, в котором внезапно вышло чувство вселенской справедливости. Поскольку он сидел, как один из лучших учеников, за партой во втором ряду, проигнорировать его дерзкий вопрос пан Турович не мог. Он весь побледнел, острые скулы заходили из стороны в сторону, а выпученные круглые глаза налились кровью. За спиной Арье послышались приглушенные смешки. В первое свое столкновение юноша чувствовал себя победителем, пусть и был удален до конца урока за несоблюдение дисциплины.

Однако теперь директор уже не оставлял его в покое. И, пусть, из-за высокого положения отца Арье, просто исключить его из гимназии не мог, но всячески старался ему насолить в пределах своей компетенции. Тут юноше нечего было противопоставить директору, каким бы прилежным учеником он ни был. Учеба стала просто невыносимой, потому, что Арье отныне строго спрашивали на каждом уроке. По своему предмету, ясное дело, директор без труда ставил юноше самые плохие оценки, «заваливая» его при любом удобном случае и изгоняя из кабинета за малейший неровный взгляд. Также, нередко, директор заставлял оставаться весь класс после уроков «из-за вопиющего поведения сами знаете кого». Так, против Арье, постепенно, оказались настроены и его одноклассники. Чаще стали случаться драки. Чаще юноша являлся домой с синяками, но непобежденный и уверенный, что всё это временные трудности.

Наконец, был вызван и отчитан «за ужасное воспитание отпрыска» пан Кацизне, который сразу понял, что собой представляет Турович. Но, поскольку гимназия была лучшей в городе, и протекцию директору составляли высокие чины в Варшаве, ничего поделать он не мог и, в беседе с сыном, предложил ему перевестись в гимназию попроще. Упрямый Арье ответил отказом.

Однажды директор потребовал мальчика явиться к нему в кабинет прямо с урока алгебры. Ничего хорошего от такого приглашения ждать не приходилось. Так и вышло. На столе перед директором лежал желтый лист бумаги с машинописным текстом и какими-то штампами и печатями.

– Что это такое? – поинтересовался Арье, поскольку в полумраке кабинета, слегка разгоняемом тусклым светом настольной лампы, прочесть бумагу он не мог.

– Приказ о вашем переводе, юноша, – скрипучим, слегка насмешливым тоном, ответил директор.

– Это еще почему?

– Вы в каком тоне разговариваете с директором, юноша?! – привычно повысил голос Турович, но взял себя в руки и сказал уже более спокойно, – Вы же взрослый человек, Арье, и осознаете всю сложность вашего положения. Я не допущу того, чтобы вы и дальше здесь обучались и подрывали мой авторитет. У меня есть свидетельства о неоднократном грубом нарушении дисциплины с вашей стороны. Вы нападаете на других учеников, избиваете их, наносите увечья. Всего этого было достаточно, чтобы попечительский совет гимназии исключил вас. И вам некуда будет податься, кроме вашей вшивой ешивы.

Арье смутно представлял, что такое ешива, и почему она вшивая. Также, он не слишком-то переживал за честь еврейского народа, чтобы переживать из-за того, что кто-то не любит жителей Казимежа. В сущности, ему просто не понравилась бредовая фанатичность, с которой на самом первом уроке начал выступать директор, потому он и ляпнул тогда своё дерзкое замечание, не предполагая, что последствия могут оказаться для него столь тяжелыми. Сейчас же, глядя в торжествующие черные глаза пана Туровича, Арье вспоминал все те трудности, с которыми ему пришлось столкнуться за последние три месяца по вине директора, и ему срочно захотелось сделать этому гадкому и мерзкому человечешке что-то очень болезненное.

Как по волшебству, пан Турович замер с перекошенным в злорадной улыбке лицом.

– Давай убьем его, – ясно прозвучал веселый голос, исходивший, будто бы, со всех сторон.

– Ого, – ответил потрясенный Арье, понимая, что голос этот ему знаком, да и ситуация будто повторяется. Пусть и в несколько иных декорациях.

– Забыл меня? Да, давно никто тебя не тревожил так сильно, как этот самодовольный идиот, решивший, что евреи – хуже его панского величества. Давай открутим ему голову. И намалюем его кровью на стене что-нибудь похабное.

– Это как? – поинтересовался Арье. Он попробовал пошевелиться, но не смог. Будто всё тело юноши куда-то исчезло, и остался лишь разум, наделенный базовыми чувствами для восприятия оцепеневшей реальности. Казалось, само время внезапно остановилось, и всё, что оставалось юноше – это вести диалог с невидимым незнакомцем.

– А вот так, – усмехнулся голос, и отвратительное лицо директора исчезло, уступив место коротко стриженному затылку. Захрустели позвонки, брызнула во все стороны кровь из лопающихся артерий, и Арье почувствовал приятное щекотание в мозгу при виде столь ужасающей экзекуции. Не было сомнений, что чем бы там не руководствовался этот гадкий тип, но доводить Арье до бешенства, подобно тем двум задирам из детства, точно не стоило. Да и невидимый незнакомец был уверен, что директора следует наказать. А уж тот, кто запросто останавливает время и без всяких усилий откручивает человеческие головы, напрасно говорить ничего не станет.

– Отличная идея, – подтвердил Арье и ринулся на пана Туровича, голова которого вернулась в прежнее положение, а кровь растворилась в воздухе. Но, ненадолго. Мгновение спустя юноша с упоением насаживал некрасивую голову на древко польского флага, стоявшего в углу комнаты. Посмотрев еще раз в злые директорские глаза, Арье воткнул в них указательный и средний пальцы, заставив их лопнуть с характерным хлопанием.

– Ого. Вечер будет просто восхитительным! – прорычал он, облизывая окровавленные пальцы. Спустившись с потолка одним прыжком, юноша взмахнул руками и его намокшая от крови директора одежда в один миг преобразилась. На идеально наглаженной и вычищенной гимназической форме теперь не было и следа кровопролития. Насвистывая легкомысленный мотив песенки Раковецкого из недавно просмотренной комедии, Арье вышел из кабинета, чинно кивнул секретарше и загадочным голосом сообщил, что пан директор попросил некоторое время его не беспокоить.

– А ещё, дорогая моя, меня тут и вовсе не было, – шепнул юноша, вдруг наклонившись к самому уху пожилой пани, и, пропев ей куплет про сладкие губы, очаровавшие его, проснулся.

– Боже мой, – прошептал он и посмотрел в темное окно. Ощупав себя, он понял, что лежит под одеялом, в своей пижаме. Смутные обрывистые образы прерванного сна всё еще стояли перед глазами, заставляя сердце мальчика усиленно биться. Но вместе с тем его охватило сильное чувство облегчения от того, что виденное им не было чем-то реальным.

Соскочив с кровати, он надел тапочки и тихонько прошмыгнул по темному коридору в уборную. На обратном пути в комнату он наткнулся на внезапно появившегося в прихожей отца, от которого веяло холодом и запахом бензина.

– Папа? – удивился Арье, будучи уверен, что тот спит.

Однако тот ничего не ответил. Лишь крепко сжал юношу за плечо до боли, так что он вскрикнул от неожиданности, и втащил его в столовую.

– Что происходит, папа?! – воскликнул весьма напуганный поведением отца Арье. Вид младшего инспектора Кацизне говорил о многом. О спешности, с которой он куда-то удалился посреди ночи из своей квартиры. О глубоком шоке, который он испытал во время этой отлучки. О гневе и ужасе, который он испытывал прямо сейчас, глядя в испуганные и непонимающие глаза своего сына.

– Покажи свой ожог, – хриплым надорванным голосом приказал отец, отпуская Арье. Глотая слезы, тот скинул с себя верхнюю часть пижамы, оставшись в майке и оголив шрамы, уродовавшие его правую руку чуть ниже плеча. Они служили единственным воспоминанием о дедушке Йехуде, лицо которого Арье и вспомнить даже не мог, но хорошо помнил его сиплый, еле слышный, голос и сильные костлявые пальцы, вцепившиеся в его руку, когда он умирал. И дикую боль от раскаленного клейма, навечно впечатавшего в его детскую кожу загадочный символ, смысл которого дедушка даже не пытался объяснить. Для Арье, получившего шрамы в трехлетнем возрасте, всё связанное с ними казалось далеким и страшным сном. Но, видя взирающего с ужасом на шрам отца, мальчик решил, что страшный сон, вероятно, еще не закончился, и робко повторил вопрос:

– Что происходит, папа?

– Одевайся, Арье, – прохрипел отец и машинально положил руку на рукоять револьвера, висевшего в кобуре на поясе. Напуганный до смерти мальчик помчался в свою комнату, не смея перечить папе, натянул поверх пижамы свитер, ватные штаны, и явился в прихожую, тщательно уверяя себя в том, что отец ни в коем случае не собирается причинить ему какой-то вред. Потому что, сколько Арье себя помнил, никогда папа не давал повода не доверять ему.

«Берлина» в этот раз был без водителя. Филипп Кацизне сам вел автомобиль по узким улочкам еврейского квартала, ловко лавируя между оставленными на улице тележками, повозками и всяким скарбом, не вмещавшимся в тесные квартиры местных жителей. Судя по часам, ночь подходила к концу, но до рассвета было еще далеко. С неба сыпались сухие маленькие снежинки, больше похожие на ледяные крошки, а с Вислы задувал промозглый декабрьский ветер, многократно усиливаясь в лабиринте переулков Казимежа и вызывая настоящую метель, затруднявшую видимость на, и без того тускло освещенных, улицах квартала. Немудрено, что торопившийся неведомо куда младший инспектор не смог избежать аварии и его автомобиль на полном ходу протаранил запертые ворота, ведущие во внутренний двор старинного двухэтажного дома. К счастью, ворота оказались довольно хрупкими, и столкновение вызвало только скромные повреждения передней части автомобиля, но не его пассажиров. Но сам факт аварии привел Арье, привыкшего к идеальной аккуратности и осторожности отца, к мысли, что пора задуматься о некоторой его неадекватности, а, значит, и о вероятной опасности, которая могла от него исходить.

На крыльце дома зажглась яркая лампа и из подвала, сбоку от парадного входа, выскочил юноша в тулупе, без шапки, так что были хорошо видны длинные спутанные пейсы. Он героически бросился прямо к заваленной обломками дощатых ворот, машине с криками на смеси польского и идиша, чем разбудил всех обитателей дома. В окнах зажегся свет, показались заспанные лица людей, пытающихся разглядеть, что случилось ранним субботним утром в их дворе.

– Тихо, тихо! – прикрикнул на юношу пан Кацизне, показывая полицейское удостоверение, – Мне нужен Соломон Иловичи!

– Нельзя! Нельзя тревожить ребе Шломо! – возмущенно затараторил юноша, поняв, кто именно ворвался в его двор, – Вам нельзя сюда, пан Кацизне! На вас наложили херем! Ребе не будет говорить с вами! Тем более в субботу! Сегодня зажигают седьмую свечу...

– Да мне плевать! – рявкнул Кацизне, выхватил револьвер из кобуры и сунул его вороненый ствол под нос юноше, – Живо отведи нас к Соломону!

– Папа, что ты делаешь?! – воскликнул основательно напуганный Арье, выскакивая из автомобиля, – Не убивай его, папа!

Последние слова мальчика, похоже, убедили молодого еврея, что младший инспектор не шутит, и, для начала, перестал тараторить, сосредоточенно вглядываясь в поблескивающий в свете фонаря барабан «нагана». Затем кивнул в сторону парадного входа и медленно произнес:

– Прошу, пойдете, я разбужу ребе Шломо.

– Арье, за мной, – скомандовал инспектор, и в его голосе было ни капли отцовской нежности. Мальчик, по-прежнему не понимающий, что нашло на его отца, послушно поплелся за ним в дом.

Дом оказался той самой ешивой – талмудической школой, отнюдь не выглядевшей вшивой. Ученики, проживавшие здесь же, высыпали из своих каморок и быстро заполнили лестницу, став живым щитом между инспектором и опочивальной раввина.

– Я только хочу поговорить с Соломоном! – громко сказал Кацизне, демонстративно убирая «наган» в кобуру и показывая пустые руки.

– Зачем он вам?! – выкрикнул кто-то из студентов ешивы.

– У моего сына проблема, – ответил инспектор, притягивая опешившего Арье к себе, – Вы знаете, кто я, и кто был моим дедом. Соломон Иловичи тоже знает. Поэтому мне и нужно с ним поговорить.

Юноша-сторож встал в нерешительности между инспектором и студентами, не имея возможности пройти дальше. Ученики ешивы начали перешептываться, решая, что им делать, но тут послышался слабый старческий голос, издававший звуки, больше похожие на стоны умирающего, нежели на слова. Голос этот произвел на учеников магическое действие. Как один, они замолчали и, кажется, даже перестали дышать, дабы не упустить ни единого колебания воздуха, исходившего от невероятно дряхлого старика, показавшегося на балконе.

– Пусть он проходит, – сказал старик ученикам, и те мигом выстроились вдоль стены, освобождая часть лестницы. Инспектор, не ожидавший столь легкого и быстрого решения вопроса, остался стоять на месте, как вкопанный, с удивлением смотря на старого раввина. А тот, сделав несколько громких булькающих вдохов и набравшись сил на очередную фразу, с укором спросил:

– Ну что ты, так и будешь вынуждать старика стоять на ногах, которые давно уже утратили своё предназначение?

– Простите, – с неожиданным стыдом в голосе ответил Кацизне и, склонив голову, ступил на лестницу, не выпуская руку Арье из своей.

Когда они поднялись, силы уже оставили старика, и двое студентов, подхватив иссушенное возрастом и лишениями тело, осторожно отнесли его в спальню и положили на большую кровать с роскошным балдахинном. Соломону подложили под голову подушку, чтобы он мог видеть своих гостей. Затем все удалились, оставив раввина и гостей наедине.

Несколько минут все присутствующие в спальне молча разглядывали друг друга. Арье никогда еще не видел столь старого человека, и был уверен, что в таком виде жизнь просто не может существовать. Лицо и руки Соломона были настолько морщинистые, что он больше походил на сказочного персонажа, нежели на человека. Хрестоматийный крючковатый нос идеально ложился в канву обычных газетных сюжетов про жадных евреев, заполонивших Польшу, а непонятного цвета глаза были спрятаны так глубоко под густыми белыми бровями, что невозможно было сказать точно, видит ли их хозяин хоть что-нибудь. Вдобавок, в тишине спальни, в шаге от старика, можно было ясно различить, наводивший на мальчика жуть, клекот во впалой груди при каждом вдохе.

– Простите, пан Иловичи...

– Пан, – фыркнул Соломон и еле заметно покачал головой, – Когда-то ты был лучшим учеником этой ешивы, Филипп.

Арье удивленно посмотрел на отца, который в компании старика уже не выглядел так угрожающе. Напротив, всем видом он выражал смирение и сожаление по поводу своего поведения. Было похоже, что старый учитель еврейских законов имел большую власть над своим бывшим учеником, и мысль об этом действовала на Арье успокаивающе.

– Перейду сразу к делу, – чуть более решительно сказал инспектор, проигнорировав замечание раввина. Он повернулся к сыну и попросил того показать свой ожог на руке. Арье принялся стягивать с себя пальто и свитер, по-прежнему не имея догадок, как именно связаны его старые шрамы с их ночной поездкой по еврейскому кварталу.

– Милый мальчик, подойди, – ласково простонал Соломон, и Арье повиновался. Раввин с большим трудом преодолел силу притяжения Земли и поднял одну руку, чтобы его сухие и тонкие, как соломинки, пальцы могли коснуться старых рубцов, избороздивших детскую кожу. Белые губы раввина затряслись, а пальцы, проведя по ожогу, беспомощно соскользнули на одеяло и больше не двигались.

– Откуда это у тебя, мальчик? – спросил старик.

И Арье поведал ему, что помнил. А помнил он такую же большую кровать с балдахином и керосиновую лампу, чей мерцающий свет заливал перекошенное предсмертной агонией лицо дедушки. И голос, хриплый, будто рычавший, требующий подойти ближе. Арье закрыл глаза и коснулся ожога. Воспоминания об ужасной боли заставили его сморщиться. Боль и запах обожженной плоти. Его, Арье, плоти, дымящейся под большой, сверкавшей красным огнем, печатью, которую дедушка неожиданно извлек из-под кровати. Потом был пронзительный детский крик – это кричал Арье, отшатываясь назад и падая навзничь. Следом перед глазами появлялся отец, ногой выбивавший потухшую железяку из дряхлой руки и бьющий кулаком наотмашь по морщинистому лицу. И глаза мамы, полные огромных, сверкающих слез, накладывающей компресс поверх лопнувшей обугленной кожи.

– Что это за знак? – спросил инспектор дрожащим голосом.

– Его поставил ребе Йехуда? – ответил вопросом на вопрос Соломон. Филипп кивнул.

– Говорил ли он что-нибудь... когда делал это?

– Не знаю. Я был за дверью. Он сказал лишь, что хочет благословить моего первенца перед смертью. После... – инспектор замялся, пытаясь как-то помягче преподнести горькую правду о своем поступке, – Понимаете, я испугался за сына. Он его прижег. У мальчика был шок. Мы были уверены, что он умрет от боли.

– Значит, Йехуда не упал с кровати, как вы говорили? – догадался Соломон и затих, переводя дух. Каждое слово давалось ему с большим трудом, а в этом разговоре слов предстояло сказать еще слишком много.

– Да, я его ударил, – признался, после недолгих колебаний Филипп, уперев ладонь в глаз, – Но он и так уже умирал. Что это за чертовщина, ребе? Это как-то связано с его кабалистическими изысканиями?

– Почему именно сейчас ты пришел задавать вопросы, Филипп?

– Потому что десять лет назад, когда моя жена... – инспектор покосился на Арье, и мальчик увидел на лице отца слезы, – Погибла, этот символ был нацарапан на стене её кабинета, залитого кровью моей бедной... Сары. Потому что три года назад двое польских мальчиков и молодая еврейская семья с младенцем были убиты, разорваны на части. И рядом с ними был этот проклятый знак. А вчера в гимназии, где учится Арье, голову директора нашли насаженной на древке польского знамени в его кабинете. А в данный момент криминалисты изучают останки еще одной молодой семьи... Двухлетние близнецы... И женщина, которая, судя по всему, была беременной...

– Я разорвал ей живот... – вдруг произнес Арье и посмотрел прямо отцу в глаза, в которых читался ужас, поэтому слова «... и зубами вытащил маленький, пульсирующий комок из её чрева...» он вслух говорить не рискнул.

– Значит, это был не сон, – продолжал Арье, не отводя взгляд, – Значит, это был я. Я – убийца.

– Нет, нет, Арье! – воскликнул отец. Его лицо исказилось мучительной гримасой, а по щекам градом хлынули слезы. Он упал перед мальчиком на колени и обнял его, прижавшись головой к его животу.

– Это дед навел на тебя какое-то проклятье, Ари, – бормотал папа, громко всхлипывая, – Ребе Шломо поможет тебе! Ребе Шломо знает, как помочь.

– Не знаю, – простонал раввин. Две пары полных отчаяния глаз устремились на него, но старик легко качнул головой и повторил свой жестокий приговор:

– Я не знаю, как помочь. Йехуда работал с высокими материями, и знал каббалу лучше многих. А печать, что он оставил на руке ребенка, древнее, чем стены этой ешивы, что построена была еще во времена праведного короля Казимира. Я знаю, что печать древний предок Йехуды... И ваш предок тоже... Привез из Испании. Это древнее имя злого духа. Падшего ангела, упоминаемого в книге Праведного Еноха. Арморос. Мастер заклятий. Ворожбы. Древний дух противления порядку, установленному Творцом. Его имя было выжжено на теле моего старого друга Йехуды. И перед смертью он передал своё бремя тебе, мальчик...

Старик запнулся и начал задыхаться. Его всего трясло от перенапряжения. В свой рассказ он вложил сил намного больше, чем мог себе позволить, и, на мгновение, Арье показалось, что сейчас тот умрет. Но прошло несколько минут, а Соломон Иловичи продолжал бороться с одышкой, тихо постанывая. Наконец, переборов приступ, он на секунду затих, чтобы затем продолжить свой рассказ.

– Йехуда поделился со мной этой тайной. Арморос, по преданию, жил в его роду, и передавался из поколения в поколение, подобно священному дару. Арморос был оружием отмщения. Оружием мощным, кровожадным и беспощадным. Оружием против врагов его обладателя. И, как надеялся каждый из предков Йехуды, оружием против врагов еврейского народа. Честно говоря, я считал, что это – одна из каббалистических легенд, выдуманная если не самим Йехудой, то одним из его учителей. Или учителей его учителей. Не каждый может вместить в себя всю полноту божественного откровения. Потому и его понимание передается, порой, в такой извращенной форме. Не все сфирот происходят от Эйн-Соф – так говорил Йехуда. Он говорил о гвуре – суде и справедливости. И о том, что архангел Габриэль, ведая о бедствиях, что выпадут на долю еврейского народа, заключил Армароса в оковы, которыми стало человеческое тело, дабы в момент отчаяния он служил хозяину. Однако, Армарос помогает не бескорыстно. Он требует жертву, и не одну. Он кровожаден. И его мечта – вырваться на свободу. Йехуда говорил, что если его хозяин будет использовать силу демона из корысти или личных мотивов, то Армарос будет оправдан, а народ, на защиту которого он и был поставлен – осужден. И Армарос соберет свою кровавую жатву среди народа Израилева.

– Конечно же, нам неизвестны пределы замысла Творца, и подогнать каждое событие и каждую легенду в границы Талмуда невозможно, – продолжал Соломон, еще немного передохнув, – Скажи мне, мальчик. Что сделали тебе те ребята, погибшие три года назад?

– Они на протяжении многих месяцев встречали меня по дороге в гимназию. Смеялись, обзывались, отбирали мой обед. Оскорбляли меня, потому что я – еврей, – ответил Арье, медленно подбирая слова, так как в голове его творился сущий бардак. Таинственное проклятье, кровавые сны, кровожадный демон, папа, убивший дедушку. И смерть мамы, возле которой был найден тот же самый знак. Неужели он убил и ту, что даровала ему жизнь? Но почему? Что это было? Демон воспользовался детской вспышкой гнева?

Перед мысленным взором Арье вдруг предстал директор гимназии Турович и его медленно отрывающаяся от тела голова. Значит, и это был не сон...

– Он исключил из гимназии всех евреев, – бесцветным тоном ответил Арье на вопрос о мертвом директоре, – И с начала учебного года делал всё, чтобы все возненавидели меня, а потом избавиться от последнего еврея в его элитной школе.

– Ты говорил с духом? – спросил Соломон.

– Не знаю, – Арье помотал головой, опустив глаза в пол, – Всё было как во сне. Я помню, как меня вызвали к директору. А потом я проснулся в своей кровати и весь вчерашний день для меня – череда тусклых кадров, как в том дешевом кинозале в Дыбниках...

И тут мальчик не выдержал, рухнул в объятия отца и расплакался. В слезах он кричал, что больше никогда не даст демону овладеть собой, и что хочет уехать как можно дальше отсюда, и что ему надо оставить человеческое общество и уединиться на необитаемом острове, подобно Робинзону Крузо. А папа обнимал его и гладил по голове, тихо шепча на ухо слова утешения. Неизвестно, сколько времени продолжалась эта душераздирающая сцена у постели обессиленного тяжелой беседой патриарха. Однако она прекратилась в один миг яркой вспышкой и оглушительным звоном, наполнившим голову Арье.

Некоторое время он ничего не видел и не слышал, чувствуя лишь острую боль в виске. А когда восприятие окружающей действительности вернулось к нему, он узрел дуло револьвера, направленное в его голову и широко раскрытые глаза отца. Инспектор явно ожидал совершенно иного результата, и, не зная, то ли радоваться своему промаху, то ли жать на спусковой крючок повторно. Тяжелая борьба между двумя этими решениями застыла в его глазах. Застыло и всё вокруг. Время остановилось.

Казалось, даже лучи света, исходившие от электрического светильника, висевшего на стене у кровати раввина, повисли в воздухе, наполненные маленькими искрящимися пылинками. Но кровь у Арье продолжала течь. Она вытекала из глубокой борозды, которую пуля прочертила чуть выше виска, собиралась в тонкую струйку над ухом и, сбегая вниз по мягкому пушку, пробивавшемуся на щеке, устремлялась к шее, где исчезала под пижамой.

– Он предал тебя, – сказал очень печальным тоном знакомый голос, и сердце мальчика неприятно кольнуло.

– Какой отец пойдет на убийство собственного сына? – спросил голос и, не дожидаясь ответа, продолжал, – Будь у меня возможность иметь детей, я считал бы их высшей драгоценностью, дарованной мне Творцом.

– Т-т-ты демон? – спросил Арье, которого лихорадило от суммы переживаемых им эмоций, в которых он даже не мог разобраться. Его детский, еще, разум отказывался выстраивать какую-то логическую модель из той взрывной смеси событий и информации, что обрушилась на него в эту ночь. Всё, чего он хотел – проснуться в своей кровати и набить рот овсяной кашей. Черт возьми, он бы съел всю кастрюлю и поблагодарил бы тетушку Ципи на чистом английском, и даже спел бы ей песенку про ягненка и Мэри.

– Я – твой лучший друг. Охрана и опора. Не слушай этого старика. И уж тем более не слушай своего предателя-папашу. Увы, никого, кроме меня, у тебя не осталось в целом мире.

– Ты заставляешь меня убивать детей. Почему? – спросил Арье, которому, вдруг, происходящее показалось столь сюрреалистичным, что стало казаться слишком ярким сном. Поэтому бушевавший мгновение назад в его душе страх сменился любопытством, как часто бывает у молодых людей его легкомысленного возраста.

– Они не умирают. Их души – бессмертны. И они всего лишь освобождаются, возвращаясь на небеса, к Творцу, в объятия ангелов. Лучшая участь, нежели муки, что они переносят в этом бренном мире.

На Арье нахлынули обрывки смутных воспоминаний, как он прогрызал кожу на огромном, вздувшемся животе, из которого комично выпирал не менее огромный пупок. И как этот

живот лопнул, обдав его лицо горячей слизью. И зубы Арье вцепились в маленькую окровавленную ручку, рвущуюся наружу сквозь разорванную женскую плоть. Тошнота подкатила к горлу. Мальчик почувствовал ужасную слабость и закрыл глаза. Но тут же открыл, потому что в темноте образ нерожденного младенца, которого он сам, своим зубами, рвал на части, предстал особенно ярко.

– Ты сделал меня чудовищем в обмен на защиту, – произнес медленно Арье, пытаясь сдержать рвоту.

– У всего есть своя цена, Арье Кацизне. Ты сам направляешь меня против своих врагов. Я же всего лишь прошу немного еды взамен. Разве какие-то, незнакомые тебе люди, которые, к тому же, презирают тебя и твоего отца, имеют для тебя значение? Оглянись, Арье. Ты узнал достаточно, чтобы использовать мою силу во благо. Во благо целого народа. Или целого человечества. Ты очень умный мальчик, и, задумайся, нет ли в твоих способностях и успехах толики меня. Хорошо подумай, кто взрастил твои таланты и нашел твои сильные стороны? Это был я, Армарос. Твой ангел-хранитель.

– Но эти люди... Ты даже не дал мне выбора! Ты заставил меня делать страшные вещи! Я не злой! – вскричал Арье, сжимая кулаки и шаря глазами вокруг в безуспешных попытках отыскать адресата своей ярости.

– И я не злой. Я просто выполняю свою часть сделки. Ты задаешь мне цель. Я – вкушаю милое моему вкусу блюдо.

– Ты – дух. Привидение. Зачем тебе еда?

– Я питаюсь не плотью и кровью. Это ты их пробуешь на вкус. Мне же нужна боль. Страдания. Их крики. Их ужас. Что может быть аппетитнее того страха, животного, беспредметного, которое испытывает дитя, внезапно вырванное из уютного, мягкого, теплого чрева родной матери? Его бытие столь нерасторопное и безмятежное. Все что он знает – это мерный стук сердца матери, её дыхание и нежные слова, которые шепчет она малышу перед сном. И вот, он внезапно обрушивается в бездну оглушительной боли. За секунду он переживает то, что могло растянуться в садистскую, медленную, многолетнюю пытку. Пытку земной жизнью. Но, освобожденный, он уносится ввысь, в сады вечного блаженства, и с благодарностью взирает на своего освободителя – тебя. И, обрати внимание, он там оказывается не один. Малыш воссоединяется со своей семьей. И не как бесформенный кусок мяса, умеющий только чревоугодничать и испражняться, доводя до белого каления окружающих своими нечленораздельными претензиями, а как осознанная, сформированная личность. Это величайшее чудо – чудо смерти.

Арье не осознал и половины того, что сказал ему демон. Однако, возвращенный на хорошей литературе и знакомый с высокой поэзией, он легко уловил извращенную философию своего незримого собеседника. Пусть ему было всего тринадцать, но он, и правда, обладал некоторыми талантами и выдающимися способностями, позволявшими ему быть на шаг впереди своих сверстников. Потому он смог окончательно побороть свой страх, нерешительность и смятение, и, поглядев в глаза отца, сказал:

– Я вижу, что папа готов убить меня. Я не могу позволить ему это сделать, но я не хочу спастись ценой его жизни. Я люблю моего папу. Можешь ли ты просто предотвратить мою смерть? Я всего лишь хочу домой. Хочу оказаться в своей постели. И хочу пойти в школу... Хотя, нет, сегодня суббота...

– Ты можешь использовать мой дар так, как тебе заблагорассудится, – ответил Армарос и добавил, – Но моя защита по-прежнему имеет цену.

– Хорошо, – согласился Арье с чувством глубокого облегчения, – Делай своё дело.

«Но это будет последний раз», – твердо решил мальчик, заведомо прося прощения у своих следующих жертв.

– Я – всего лишь инструмент, – ухмыльнулся незримый собеседник. И время вновь пошло вперед...

За следующие восемь лет еще не раз незримый хранитель заставлял замирать всё вокруг и говорил со своим хозяином. Говорил долго, если можно так выразиться относительно остановившегося времени. Когда Арье впервые разбили отчаянно влюбленное сердце, и когда отец вернулся из Казимежа раненый еврейскими активистами, протестовавшими против дискриминационной политики. Когда хулиганы из Дыбников подкараулили его по пути из гимназии и закидали лошадиным дерьмом у всех на глазах. Когда в Краков вошли немецкие войска, и когда было раскрыто еврейское происхождение его семьи и их переселили в гетто. Когда в гетто его отца повесили другие узники, так и не простившие ему предательства общины, о сути которого Арье так и не смог ничего узнать. «Он заслужил это. Херем на нем». – сказал ему сердитый одноглазый старик и смачно плюнул в еще извивающуюся в агонии жертву. Плевок этот, от чего-то, черный, завис на полпути между вытянувшимися, покрытыми коростой, губами предводителя линчевателей и отцом, но и тогда Арье отверг предложение Армароса.

С каждым разом демон был всё настойчивей. Он уже не предлагал, а требовал. Он угрожал. Он давил на жалость. Каждый раз время останавливалось в момент еще ужасней, нежели предыдущий. Но Арье, с мрачным упрямством и обреченностью говорил Армаросу «нет».

– Стой! – взвыл Армарос так громко, что у Арье, давно уже не мальчика, заложило уши.

– Хватит! – вопил падший ангел, и, казалось, Арье различал на, расцарапанной тысячами ногтей, кирпичной стене камеры смутные очертания человеческой фигуры.



Он огляделся. Вокруг него стояли его товарищи по несчастью. Другие, не знакомые ни с его жизнью в Кракове, ни с историей его отца, и, потому, не испытывавшими к нему того презрения и ненависти, как соседи по краковскому гетто. Скелеты, обтянутые кожей. Со следами многолетних истязаний. С лицами, не выражавшими ничего. Вообще ничего. Наверное, и его лицо тоже теперь было таким же примитивным, как у грубо сделанной куклы. Чтобы балую-

щийся с ним хозяин мог самостоятельно придумать ему какие-то чувства и эмоции. Вложить свои слова в его уста. Накормить понарошку кашкой или оторвать руку. Или запереть в этой камере с расцарапанными стенами.

– Прикажи мне! – кричал демон, и голос его уже не был приятным и учтивым. Словно хор охрипших стариков в сопровождении тысяч несмазанных дверных петель, подумал Арье. Без тени иронии. На неё он уже был не способен.

– Ты возьмешь на себя их кровь тоже! Сотни тысяч уже погибли! А погибнут миллионы! Миллионы, и это только из твоего народа! Я дан народу израилеву как избавитель! Как проклятье на головы их врагов! А ты бездействуешь, обрекая их на истребление! Прикажи мне!

Арье закрыл глаза и увидел взрывающийся, как переспелый арбуз, лиловый живот, из недр которого к нему тянется маленькая красная ручка. И ощутил вкус крови на губах. Крови, отдававшей молочную кашей тетюшки Ципи.

– Прикажи...!

– Почему ты заставил меня убить мою мать?

Демон затих. И Арье ясно услышал его тяжелое дыхание. И почувал его. Горячее, пахшее золой. Не угольной. Не древесной. Золой, которую он выгребал уже несколько месяцев из крематория и вез на тележке в дальний конец лагеря, к вагону. Вагон, в свою очередь, увозил золу куда-то на запад. Удобрять фермерские земли. Наверное.

– Она знала, что именно сделал Йехуда Бен-Хаим, – ответил Армарос, с большим усилием произнося каждое слово, – И она хотела убить тебя.

– Ты лжешь!

– Возможно.

– Отправляйся в ад!

– Не могу. Ты можешь передать меня только своему потомку.

– Не можешь? – Арье удивился. Он давно не удивлялся, и, потому, удивился еще и тому, что в его душе осталось место для чувств.

– Ты умрешь вместе со мной?

– Я не позволю этого. Мы можем вечно пребывать в этом моменте. Пока я не смогу убедить тебя отдать мне приказ.

– И ты убьешь тысячи солдат? Убьешь Гитлера? Убьешь всех на нашем пути к свободе?

– Да...

– А потом я проведу остаток своей жизни, выплачивая кровавую цену? Каждую ночь вгрызаясь в чрево очередной еврейской матери? Ломая ребра еврейских детей? Отрывая головы еврейских отцов? И насыщая тебя их болью и страданиями?

– Что?

– За каждого ты просишь втройне. Я уже уяснил тот урок. Миллионы погибнут. Если не все. И ты, насытившись, моими же руками уничтожишь народ, который тебе было поручено защитить. О да, демон, я всё понял.

– Освободи только себя. Я перенесу тебя, куда захочешь. Не убивай никого из твоих врагов. И наблюдай, как пощаженные тобой уничтожают твой народ. И не в течение многих лет, а сейчас, сегодня. В один момент.

– Нет, демон. По твоему не будет. Нацисты – всего лишь люди. Их когда-нибудь победят другие люди. Люди сами решают свои проблемы. Люди гибнут и рождаются. Люди порождают зло, но сами же его и останавливают. А ты, демон, то зло, которое они никогда остановить не смогут. Зло, которое неподвластно законам природы и неуязвимо для человеческого разума. Зло, собирающее кровавую жатву, и никто не в силах его остановить. Такое зло я не могу выпустить в этот мир. Пусть, даже, и ценой жизни миллионов.

– Ты не понимаешь...

– Понимаю. Оставь меня.

– Нет, я буду здесь целую вечность. И ты, целую вечность, будешь в плену этого момента, взирать на кирпичную стену в ожидании смерти. Но смерти не будет. Буду лишь я!

– Пусть так. Я сделал выбор, – стальным тоном произнес Арье и обещанная демоном вечность моментально закончилась.

Газ убивал медленно, и еще долго, прежде чем последний раз закрыть глаза, Арье мог с упоением наблюдать, как на расцарапываемой стене, среди голых, бьющихся в конвульсиях, тел, корчится в муках умирающий демон, чей силуэт становился всё отчетливей и ярче. Наконец массивная фигура в черных одеждах вырвалась из стены, разметав задыхающихся людей, и рухнула на колени перед своим хозяином. Нечленораздельный вопль вырвался из бездонной черной глотки, и демон растворился в воздухе, подарив последний миг удовлетворения и покоя Арье, с легкой душой отправляющемуся на облачко к бабушке.

Александр Лебедев Мальки

«Накануне, следуя миролюбивой политике и предупреждая возможные провокации со стороны сопредельных государств, развязавших междуособную войну, были приведены в высшую степень готовности части вермахта и СС, дислоцирующиеся вдоль границ Чехословакии и Польши. Польское руководство, введенное в заблуждение касательно своих возможностей, и рассчитывающее на захват чехословацких территорий без каких-либо на то оснований, стоит теперь на краю масштабного кризиса, отражая удары с юга и востока. Напротив, мы видим, как торжество здравого смысла и стремление к сотрудничеству укрепило взаимное доверие между нашим фюрером, Адольфом Гитлером, и лидером Чехословакии, Эдвардом Бенешом, взявшим на себя обязательства по мирному реформированию...»

– Фрау Баммер, скажите пожалуйста, это берлинское радио? – с наигранной строгостью спросил Шмитц, отрывая взгляд от прекрасного вида на Линцевский замок, открывавшийся с другого берега Дуная за двадцать лет до того, как через реку начали возводить новый мост по личному указанию Гитлера.

– Простите, криминаль-инспектор, – разволновалась секретарша, и от того её голос задрожал, – Я решила послушать венское. Сейчас же переключу...

– Нет, что вы, моя дорогая фрау Баммер. Я всего лишь хотел высказать своё удивление по поводу неуклюжих речевых оборотов, в которые диктор пытался заключить суть радикальных изменений внешней политики нашего рейха. Но, раз радио венское, то переживать не стоит. Думаю, в Вене Геббельс еще не довёл работу пропагандистской машины до ума.

– Ой, господин Шмитц, вы такие разговоры со мной ведете... Я же всего лишь ваш секретарь.

– Бойтесь провокации, фрау Баммер? – Шмитц нахмурил одну бровь, пристально взглянул на бюргершу, и рассмеялся.

– Фрау Баммер, запомните. Как только вам покажется, что я начинаю вас в чем-либо подозревать, смело сыпьте крысиный яд в ваши бесподобные венские вафли. Вы ведь меня так прикормили, что я даже под страхом смерти не смогу перед ними устоять.

– Ой, инспектор, вы слишком добры.

– Только к верным сынам и дочерям Германии, – ответил, добродушно ухмыляясь, Шмитц, и вернулся к разглядыванию фотографического альбома, изъятого накануне в квартире некоего еврея Шонберга, проживавшего на Леденграссе, в самом центре Линца. Даже в городской ратуше не было столько исторических фотографий Линца, сколько хранил у себя старый иудейский пройдоха, решивший, что раз смог скрыться от вездесущей службы безопасности рейхсфюрера СС, то и единственный на весь рейхсгау Верхний Дунай сотрудник гестапо его не найдет. А Шмитц, таки, нашел. В пику проклятым СД, из-за которых ему в Линце заниматься было нечем, кроме как листать конфискованный альбом и слушать венское радио.– Пойду, прогуляюсь, фрау Баммер, – учтиво сообщил Густав секретарше и, озаренный её сердечной улыбкой, вышел из кабинета. Спустившись по широкой лестнице в вестибюль, он наткнулся полицейских в старых серых мундирах, которые тащили под руки, совершенного голого и обритого, юношу. Тот инфантильно упирался и что-то грустно мычал. Весьма озадаченный увиденным, криминаль-инспектор проследовал мимо.

На улице царил осенняя прохлада. Набегавший с Дуная ветерок, пропахший тиной, лениво ворошил опавшую листву на Клостерштрассе, где в здании полицейского комиссариата Линца располагался отдел гестапо, состоявший ровно из одного криминаль-инспектора. Помимо Шмитца здесь же обитали обыкновенные муниципальные полицейские, работа у кото-

рых была куда интересней, по мнению Густава, некогда начинавшего карьеру в уголовной полиции Дрездена. Услышав жужжание взлетающего с аэродрома, на востоке Линца, самолета, Шмитц задрал голову, в бессмысленной попытке разглядеть его сквозь серую пелену, застилавшую небо. С грустью подумал о том, что было бы неплохо сейчас отправиться на крылатой машине куда-нибудь в горячую Бразилию или безмятежную Скандинавию. Потом тряхнул головой, выбросил в урну так и не зажженную сигарету, и побрел назад, к альбому и безмятежности своего кабинета, пропахшего рагу и карамелью по вине бесподобно готовившей фрау Баммер.

В вестибюле Шмитц вспомнил про странного юношу и, чтобы хоть как-то разогнать скуку, поинтересовался у дежурного, куда его отвели. Проследовав в указанном направлении, Густав оказался в кабинете обермейстера Мозера, веселого сорокалетнего толстячка, в чью компетенцию входил муниципалитет Урфар, к северу от Линца. Мозер, по обыкновению, развалился в кресле, и что-то отчаянно искал в беспорядочной стопке бумаг на своем столе. В углу, в компании молодого кандидата, сидел юноша, наготу которого заботливо прикрыли бордовым шерстяным одеялом. Оно было ужасно колючим, и задержанный плакал, вяло пытаясь выбраться из-под него, но полицейский не давал ему этого сделать.

– Криминаль-инспектор Шмитц! – прокаркал Мозер, вскакивая при появлении сотрудника гестапо, – Чем могу быть вам полезен?

Густав смущенно кивнул обермейстеру, и тихо сказал:

– Садитесь. Я тут не потому, что кто-то из вас заподозрен в еврействе или коммунизме. Мозер изобразил весьма натянутую улыбку и сел, но уже не так вальяжно, как раньше.

– Кто этот загадочный молодой человек? – спросил Шмитц, указывая пальцем на плачущего юношу.

– Не имею возможности знать, господин криминаль-инспектор. Был найден на Гроссамберг-штрассе. Без одежды и документов. Ни слова по-немецки связать не может. Да и вообще, кажется, человеческой речи не знает. Может быть, душевнобольной. Я только что звонил в лечебницу, и эти психиатры твердят, что ничего не знают. У них беглецов не зарегистрировано.

– Позвольте, я взгляну? – спросил Густав. Мозер, наслышанный о гестапо, всё еще никак не мог привыкнуть к неожиданной вежливости и учтивости грозного служителя политической полиции. Потому он опять инстинктивно вскочил и выпалил:

– Конечно, господин криминаль-инспектор! Ригль! Сними одеяло с задержанного!

Ригль повиновался, и обнаженный юноша, облегченно вздохнув, устался заплаканными синими глазами на Шмитца, нервно улыбаясь подрагивающими кончиками рта. Густав произнес «Кто ты?» на немецком, английском и русском, но юноша никак не отреагировал на его познания в иностранных языках, и даже не открыл рта. Лишь наивными детскими глазами смотрел прямо в цепкие и колкие глаза сотрудника гестапо.

– Будто собака, – пробормотал Шмитц, отводя взгляд. Он быстро осмотрел тело юноши и задумчиво произнес:

– Выглядит, как настоящий ариец.

– Что вы хотите этим сказать, господин криминаль-инспектор?

– Ригль, поставьте его на ноги. Да, вот так. Смотрите, господин Мозер, наш молодой человек, можно сказать, идеален, – Шмитц, взял со стола длинное чернильное перо и, используя его в качестве указки, стал объяснять суть своих слов, – Взгляните на этот череп. Плечи. Туловище. Никаких изъянов. Никакой кривизны. Идеальные жировые складки. Нет лишнего веса, но нет и признаков голода. Нет родинок, родимых пятен, лопнувших сосудов, прыщей и корост. Я не вижу следов оспы или других заболеваний. Зато есть след от противотуберкулезной прививки на плече. Удивительная предусмотрительность со стороны... Опекуна этого странного молодого человека.

Мозер, максимально напрягая все свои извилины, старательно всматривался в каждую деталь, указываемую ему Шмитцем, и не менее старательно поддакивал на каждое его утверждение.

– А вот, гляньте, Мозер. Ригль, и ты тоже, – Густав просиял, обрадованной неожиданной и интригующей находке, – Клеймо! Настоящее, выжженное клеймо за ухом! Мозер, вы уже начали заполнять бумаги на этого гражданина?

– Да, да, конечно! – выкрикнул, обермейстер, вздымая над головой серый лист протокола, в котором виднелось всего две строчки.

– Отлично, господин Мозер. Так пишите. За правым ухом присутствует круглое клеймо, размером с монету в десять рейхпфеннигов.

– ...рейхпфеннигов, – повторил обермейстер, в бешеном темпе царапая бумагу химическим карандашом.

– Клеймо старое. Вероятно, поставлено в глубоком детстве. В круге присутствует надпись. На английском языке. Фрукты.

– Фрукты? – переспросил Мозер, чуть было не написавший это, совершенно не подходящее случаю слово, в протокол. – Fruit – по-английски значит «фрукты», – подтвердил Шмитц, чувствуя, как его охватывает ликование. Будучи взращен на детективах и приключенческих романах, юный Густав мечтал о таинственных и захватывающих приключениях. И вот, посреди серой линцевской безнадежной скуки на него свалился мычащий юноша с клеймом. И в этом юноше, с литературной точки зрения, было прекрасно вообще всё. Таинственность – на месте. Удивительно? Конечно! Лишенный одежды, в октябре, в достаточно оживленном районе, не в джунглях каких-нибудь. Откуда он тут мог взяться никем не замеченный ранее? К тому же у него не было ни намека на переохлаждение или простуду. Значит, его держали где-то неподалеку, и он сбежал. Либо, его везли куда-то, и потеряли. Это удивительное появление вкупе с клеймом за ухом и отсутствием всякого человеческого разума найденыша намекали на определенное злодеяние, длительное время творимое над этим человеком. Определенно, юноша стал жертвой чьего-то злого гения. Или не гения. Но злого – это точно. А еще этот не характерный для Линца запах...

– Вы чувствуете, Ригль? – спросил Шмитц, прикрывая глаза и жадно втягивая носом воздух. Полицейский принюхался и закивал:

– Пахнет, как в кафе у господина Брандта.

– Брандта?

– Да, он бывший путешественник. Жил в Индии. А, вернувшись в Линц, открыл здесь кафе в индийском стиле, – поведал Ригль, тщательно скрывая радость от возможности оказаться полезным гестапо, – У него постоянно жгут какие-то палочки, которые ему присылают из Калькутты. Они еще не горят, а дымят. И запах точно такой, только сильней.

– Сандал, – произнес Шмитц многозначительно и снова потянул воздух носом, – Определенно, это сандал. Знаменитое благовоние, используемое в восточных ритуалах. Что ж, господин Мозер, кажется, ваше дело приобретает интересный оборот. Позвольте мне поучаствовать в нем?

– Конечно, господин Шмитц! – выпалил, не задумываясь, обермейстер, которому казалось, что любое противоречие воле гестапо грозит ссылкой в концлагерь.

– Прекрасно, господин Мозер. А теперь за дело. Ригль! Ваша задача – доставить нашего найденыша... Назовем его пока что «Фрукт».... В университетскую больницу. Можете смело ссылаться на меня. Пусть его накормят, выдадут одежду и поместят в отдельной палате под присмотром психиатра. Я сейчас позвоню главному врачу и распоряжусь обо всем. Мозер, а мы с вами берем двоих полицейских и выдвигаемся в кафе. Возьмем мою машину, чтобы быть убедительней.

– Слушаюсь, господин криминаль-инспектор! – ответил обермейстер, и, спустя двадцать минут, зловеще-черный Mercedes L300 припарковался на Зюдтиролерштрассе, у заведения с яркой оранжево-красной вывеской, резко контрастирующей со строгим порядком, царившим вокруг.

«Маленькая Индия» – без особой фантазии назвал своё небольшое кафе Брандт. Зато он удачно угадал с большой красной индуистской свастикой, украшавшей витрину его заведения задолго до того, как на ратуше Линца подняли знамя с аналогичным солярным символом. Свастика Брандта была увита цветочными гирляндами, а за ней, на полочках, разместился целый батальон индуистских божков из глины и дерева. Первое впечатление о необычном для этих мест кафе довершал нестерпимый запах восточных пряностей и сандала, исходящий изнутри.

Густав Шмитц, одетый в форменную черную шинель, с широкой красной, со свастикой, повязкой на рукаве, выглядел максимально угрожающе, когда покинул тёплый салон автомобиля и ступил на мощный камень тротуар. Редкие прохожие, спешившие куда-то по своим делам, увидев сотрудника гестапо, заспешили ещё больше. Державший по соседству с кафе книжный магазин брюнет в старомодном фраке, вышедший покурить, нервно улыбнулся, вскинул было руку в нацистском приветствии, ступевался и, пятясь, исчез за дверью.

– Надо же, хоть кто-то знает, как приветствовать верного слугу фюрера, – усмехнулся Шмитц и вошел в кафе. Жалобно зазвенели десятки колокольчиков под потолком, возвещающая приход нового гостя. На их зов явилась симпатичная девушка в желтом сари, натянутом прямо поверх обыкновенной секретарской блузки и гимнастических брюк. Щедро смазанные жиром черные волосы её были уложены замысловатым кренделем, а на лбу красовалась яркая красная точка.

– Намасте... – начала было говорить какое-то индийское приветствие девушка, но, увидав, кто сегодня пожаловал в их заведение, выбросила вперед руку и выкрикнула:

– Хайль Гитлер!

– Хайль Гитлер! – ответил ей Шмитц. Секунду он испытующим взглядом шарил по юной работнице кафе, после чего спросил с доброй улыбкой:

– Союз немецких девушек?

– Так точно, господин...

– Шмитц, – подсказал смущенной, но храброй и дисциплинированной девушке, Густав, стягивая кожаные перчатки.

– Господин Шмитц, вы по служебным делам, или я могу предложить вам обед? – строгим, как на смотре, голосом, спросила бравая официантка.

– Мозер, берите пример, как надо вести беседу с сотрудниками органов безопасности рейха, – иронично заметил Шмитц, оборачиваясь к бледному, словно смерть, обермейстеру.

– Нам нужен господин Брандт, – сообщил Густав. Та кивнула, гаркнула «слушаюсь» и исчезла за занавесью из нанизанных на нитки ракушек и бумажных цветов. Меньше, чем через минуту, появился Брандт, именитый путешественник и поклонник всего индийского. По крайней мере, всё индийское, что можно было найти в Остмарке, было в данный момент надето на нем. А именно: шитый золотом синий халат, полы которого волочились где-то за занавеской, золотистый тюрбан с белым навершием в форме цветка лотоса, и длинноносые, словно у клоуна, туфли, также не обошедшиеся без мотка золотых ниток. Украшений на конечностях Брандта было не счесть, и походил он более на беглого падишаха, нежели на владельца кафе в столице Верхней Австрии.

– Господин Шульц! А я всё ждал, когда же берлинский гость почтит своим посещением моё уникальное заведение! – обрушил приторно-медовые речи Брандт на криминаль-инспектора, не давая ему даже раскрыть рта, чтобы уточнить свою фамилию, – Боже мой, вы не представляете, как далека местная публика от понимания великолепия востока. Когда я впервые увидел этот прекрасный символ на знаменах национал-социалистов, я понял, что Германия,

наконец-то, на верном пути! Восточная мудрость, несомненно, поддалась острому разуму нашего дорогого фюрера, и навела его на ряд прекрасных идей, которые он непрестанно воплощает в жизнь! Ах, если бы больше берлинских туристов выбиралось в наши края! Уж они знают толк в экзотических удовольствиях, и по достоинству бы оценили...

– Простите, что перебиваю, господин Брандт..., – попытался вставить слово Густав, но фанатика восточной мудрости было не остановить. Он сдвинул в сторону занавеску и открыл взору Шмитца довольно сносную пародию на декорации для какой-нибудь сказки из «Тысяча и одной ночи». Зал с низким, увешанным бумажными лианами, потолком, под которым кругом расположились столы на коротких ножках. Между столами возвышалась, тщательно замаскированная искусственными цветами, кадка с водой, имитирующая водоем. В дальнем углу, на языческом алтаре, заставленном потемневшими от времени, и, вероятно, аутентичными статуэтками индийских божков, нещадно чадила добрая сотня длинных тонких палочек, наполняя зал плотной пеленой восточных благовоний.

– Вы просто обязаны попробовать нашу великолепную курочку масала, и панир масала, чапати, бириани...

– Брандт! – рявкнул Шмитц, у которого, в конце концов, лопнуло терпение, – Замолчите!

Хозяин «Маленькой Индии» осекся на полуслове и окаменел, взирая на криминаль-инспектора со смесью ужаса и любопытства. Было видно, что на своем веку, прежде чем выжить из ума и нарядиться цыганским бароном, Брандт повидал немало вещей куда опаснее, нежели вышедший из себя сотрудник гестапо.

– Мы с обермейстером Мозером расследуем одно загадочное обстоятельство, – уже спокойным тоном продолжал Шмитц, чуть-чуть улыбнувшись, чтобы разрядить обстановку, – И нам нужна информация. Если, конечно, вы ею располагаете.

– Да, да, конечно, господин инспектор... штурмбаннрейхсфюрер... – выпалил скороговоркой бессмысленный набор звуков Брандт, запнулся и тихо закончил, – ...мейстер.

– Отлично, Брандт. Я хотел бы осмотреть ваше кафе, включая кухню и другие помещения, если они имеются. И, скажите, не пропадали ли у вас кто-нибудь из работников? Или родственников?

– Вообще?

– Недавно.

– Нет. Не думаю, господин Шульц.

– Я – Шмитц.

– Да, да, конечно. Прошу прощения, господин Шульц... Ой, я несколько взволнован...

– Это я вижу, – Густав тяжело вздохнул, повернулся к сопровождавшим его полицейским и отдал короткий приказ, следуя которому они ринулись тщательно осматривать каждый уголок необычного кафе. Сам же Шмитц вошел в обеденный зал, продрался сквозь дымную пелену к алтарю и потянул носом воскурения, исходящие от тлеющих палочек.

– Хм, слишком едкий запах, – пробормотал он, морщась. Секунду спустя Шмитц уже доставал носовой платок, чтобы утереть выступившие от дыма слезы. Прокашлявшись и малость поплакав, он вернулся к выходу, с облегчением переводя дух.

– Вы не думали, как-то... – Шмитц потер лоб растопыренной пятерней, силясь подобрать не самые обидные для Брандта слова, – Разнообразить атмосферу в вашем заведении. Уж очень... Дымно.

– Ооо, – протянул старый путешественник, собираясь с мыслями. Но, так и не собравшись, он бросил на криминаль-инспектора полный отчаяния взгляд и снова выдал долгое и многозначительное «оооо».

– Ясно, – кивнул Шмитц. Брандт точно не подходил под типаж человека, способного держать в плену и доводить до животного состояния кого-либо, кроме самого себя или своих несчастных клиентов, рискующих умереть от удушья за экзотическим ужином.

– Скажите, господин Брандт, а где у вас хранятся эти вот палочки. С благовониями.

– Сандаловые свечи? Вот, здесь, в шкафчике, – сбивчиво, глотая звуки, ответил Брандт, открывая дверцу в стене, за которой оказалась небольшая кладовка, доверху набитая картонными коробками, испещренными латиницей и иероглифами.

– Можно? – спросил Шмитц, протягивая руку к одной из вскрытых коробок, наполненной толстыми вязанками черных прутиков, источавших знакомый аромат. Взяв одну вязанку в руки, Густав поднес её к носу и лицо его озарила торжествующую улыбка.

– Где вы их берете, господин Брандт? – поинтересовался он у еще больше разволнованного падишаха.

– У Теодора, – выпалил Брандт и замолчал. Но, когда сотрудник гестапо недовольно нахмурился, понял, что требуется нечто большее, чем просто имя, и добавил:

– Арльта. Теодор Арльт. Он буддист. Или вроде того. У него кружок...

– Политический?

– Нет, нет, что вы! – Брандт всплеснул руками, закатив глаза, – Теософский. Учение Елены Блаватской, спиритуализм, восточная мудрость, медиумные практики.

– На гусях, что ли, играют?

– Сам господин Арльт наловчился на рабанастре играть. А я, изредка, когда бываю, на танпуре. Вот она, на стене висит, слева от алтаря.

Брандт с блеснувшим в глазах обожанием, указал сквозь россыпь ракушек куда-то во мглу обеденного зала. Шмитц хмыкнул и приказал продиктовать ему адрес, по которому можно было найти Теодора Арльта с его кружком.

– Гроссамберг? – переспросил Густав, не веря в столь невероятную удачу. Брандт кивнул.

– В машину! – бодрым тоном скомандовал Шмитц, развернулся на месте и замер, упершись в унтерштурмфюрера службы безопасности рейхсфюрера СС, незаметно для всех вошедшего в кафе. Крысиное лицо с острыми скулами и колкие голубые глаза – Шмитц не мог не узнать своего главного конкурента в деле борьбы с политическими врагами Рейха. Человеком, ответственным за унижительное, вынужденное бездействие гестапо в Австрии, был Адольф Эйхман, мелкой сетью опустошавший закрома врагов, предателей и евреев по всему Остмарку.

– Господь всемогущий, господин Шмитц! – воскликнул Эйхман, будто бы совершенно не ожидал увидеть здесь сотрудника гестапо.

– Какое милое совпадение! – с как можно большим отвращением ответил единственный на ближайшие двенадцать тысяч квадратных километров сотрудник гестапо, даже не пытаясь поверить в случайность этой встречи.

– А я как раз ехал мимо, и, смотрю – машина гестапо. Да еще в таком необыкновенном месте. Свастика с цветами – просто удивительная находка, господин...

– Брандт, – робко отозвался бледный падишах, для которого визит представителей двух могущественных спецслужб рейха, да еще и в один день, кажется, был перебором, – Б-б-благодарю.

– Вкусно тут кормят? – поинтересовался Эйхман, заглядывая через плечо более высокого Шмитца в пустой обеденный зал.

– Оставайтесь и сами узнаете, – ответил Шмитц, – А нам пора.

– Куда вы так спешите? Отобедаем вместе. Поделимся новостями. Слыхали, Бенеш спелся со Сталиным, и они вместе решили попилить маленькую гордую республику? Фюрер в бешенстве.

– Как мило, Эйхман. Как мило, что вы должны быть в Вене, штамповать выездные визы евреям, а вместо этого стоите в дверях этого чудного кафе...

– ...и мешаю вам пройти, Шмитц?

– Нет, как вы могли подумать? Всего лишь рискуете получить ревматизм. На выходе такой сквозняк. К тому же дунайская осень сырая и промозглая.

– Так куда вы едете, мой заботливый Шмитц?

– В Гроссамберг, навестить некоего Теодора Арльта. Кстати, обермейстер, вы что-то можете рассказать про этого Арльта? Всё-таки в Урфаре не так много больших роскошных поместий, населенных сектантами.

Мозер, во время диалога сотрудников двух специальных ведомств, стоял по стойке смирно, боясь шелохнуться, и вопрос Шмитца застал его врасплох. Рот он открыл чуть раньше, чем вообще понял, о чем, собственно, его спрашивают, и так и застыл с комичным выражением лица. Выжидательно смотрящие на него сотрудники специальных служб ввели бедного обермейстера в еще больший ступор. Наконец, найдя в памяти нужные слова, он громко, не закрывая рта, сглотнул комок, застрявший в горле, и произнес:

– Он крупный фермер. Спонсор местной национал-социалистической ячейки с двадцатых годов. Его сын погиб в тридцать четвертом, во время штурма канцелярии Дольфуса.

– И он стоял у истоков тридцать седьмого штандарта СС, – добавил Эйхман почтительным тоном.

– Вот это да. И он поставляет вам сандаловые палочки? – усмехнулся Шмитц, – Достойный человек.

– Значит, вы желаете навестить Теодора Арльта? – спросил унтерштурмфюрер, уже без всякой иронии.

– Еще как хочу, – сказал Шмитц, который всё еще никак не мог выйти в виду стоявшего между ним и дверью Эйхмана, – А что у вас за интерес?

– Он мой старый друг и наставник. Потому мне непонятно, почему гестапо им интересуется.

– Не могу сказать, господин Эйхман. Служебная тайна, если вы понимаете, о чем я.

– Позвольте вас сопроводить?

– Конечно. Сядете на заднее сидение?

– О, нет, благодарю, у меня своя машина с водителем.

– Отлично. Раз вы не желаете отведать вкуснейшую курочку масала, то предлагаю отправиться в путь.

На улице Шмитца ожидал неприятный сюрприз. Его вороненый «железный конь» грустно стоял, накренившись набок, поскольку два левых колеса его оказались пробиты. Густав, и так не слишком веривший в случайность его встречи с офицером СД, при виде обездвиженного «мерседеса» отринул всякие сомнения и инстинктивно нащупал «вальтер» в наплечной кобуре, скрывавшейся под форменной шинелью. Однако, Эйхман и впрямь был в сопровождении лишь одного водителя, деловито протиравшего отполированную поверхность вычурного автомобиля, словно ничего и не произошло.

Не обращая внимания на наигранное сочувствие, которое унтерштурмфюрер выразил по поводу поломки, Шмитц обратился к обескураженному Мозеру:

– Почините автомобиль и живо в поместье Арльта.

– У вас есть два запасных колеса, господин криминаль-инспектор?

– Заклейте. Придумайте что-нибудь. А я поеду с Эйхманом.

– С ним? – Мозер уже не побледнел, а побагровел и покосился на здоровяка-водителя в форме СС, у которого на поясе болтался увесистый кинжал. Шмитц проследил за взглядом обермейстера и, решив, что дело, принявшее неожиданно угрожающий уже непосредственно ему оборот, улыбнулся и обратился к Эйхману:

– Быть может, ваш водитель поможет моим сопровождающим с починкой автомобиля? А мы с вами прокатимся к господину Арльту. Я задам ему пару вопросов, а там, глядишь, и мой «мерседес» подъедет за мной, а заодно и привезет вашего водителя.

Унтерштурмфюрер понимающе ухмыльнулся и кивнул:

– Конечно. Клеменс, будь добр, достань инструменты и помоги бедолагам с починкой.

Клеменс удивленно поднял брови, но, заметив едва уловимый, однако не ускользнувший от внимательного Шмитца, жест начальника, нахмурился и пошел к багажнику. – Какая роскошная машина, господин Эйхман, – искренне восхитился Шмитц, буквально утонувший в мягком кожаном сидении после строгого аскетизма своего служебного «мерседеса».

– Австрийская. «Грэф-унд-Штифт», прошлого года выпуска. Принадлежала главе политической полиции Вены. Теперь он в концлагере, со своим ненаглядным Шушником. А машина далека от политики. Кто её холит и лелеет, тот на ней ездит. Как женщина, знаете ли.

Крысиное лицо перекосила самодовольная улыбка. Видимо, он только что сказал какую-то шутку, решил Шмитц, но не стал уточнять, какую. Криминаль-инспектор сидел на переднем сидении, рядом с Эйхманом, который и вел роскошный Grf & Stift SP 8 Pullman, легко вращая покрытый серой кожей руль. Хромированная приборная панель была подсвечена так ярко электрическими лампами, что слепила пассажира отражаемым светом. Но, чуть насладившись комфортом и запахом дорогого парфюма, исходившего от унтерштурмфюрера, Шмитц вернулся к совершенно не праздным размышлениям касательно сути происходящего. Еще четверть часа назад он откровенно развлекался, посмеиваясь над разодетым в пух и прах Брандтом, а теперь, неожиданно, находился в компании очень влиятельного и опасного функционера НСДАП, который тщательно скрывал от него цель их незапланированной встречи. Как всё это было связано с найденным из Гроссамберга, Густав мог только догадываться.

– Простите, господин Эйхман, так как вы, всё-таки, оказались в Линце?

– Вообще, Шмитц, можете называть меня по имени. Это первое, – насмешливым тоном ответил Эйхман, – Во-вторых, Линц – моя родина. Я здесь родился, вырос, и, даже, ходил в ту же школу, что и фюрер.

– Приехали навестить родительское гнездо?

– Вы думаете, мой приезд как-то связан с вами, Густав?

– Вы отвечаете вопросом на вопрос, как еврей, Адольф.

– Остроумно. Но я, правда, приехал сегодня в полдень, проведя три с половиной часа в пути, не ради вас.

– И что же заставило вас покинуть ваш уютный кабинет в Вене?

– Я планировал заполучить не менее уютный кабинет в Праге уже к следующему году. Но, в связи с демаршем Бенеша и всей этой заварушкой вокруг Польши, у меня возникли серьезные проблемы. Чертовы евреи никому и так не были нужны, а теперь, кроме как в Швейцарию, их не депортировать. А швейцарцы перекрыли границу.

– В концлагерях закончилось место?

– Шутишь, Густав? Давно. Они переполнены. Сейчас идет срочное строительство двух десятков лагерей по всему рейху. Я буду курировать специальный лагерь для евреев, здесь, под Линцем, в Маутхаузене. И это вместо Праги. Чертов Бенеш. Чертов Сталин.

– Да ты плотно увяз в еврейском вопросе, Адольф. Слышал, до Вены, ты даже летал в Иерусалим для встречи с сионистскими боевиками.

– Ну, в Иерусалим нас не пустили британцы, а в Каире мы, и правда, встречались с этими... Короче говоря, даже в Палестине евреи не особо нужны. Что тут поделывать? Придется тратить на них деньги и строить чертовы лагеря.

– Какая незадача, – посочувствовал Шмитц.

Машина въехала на железный мост через Дунай, ведущий в Урфар, обогнала трамвай и уперлась в экскаватор, медленно переваливавшийся через улицу на, запачканных сырой землей, широких гусеницах.

– Скоро тут будет новый мост – мост Нибелунгов, – мечтательно сообщил Эйхман, с удовольствием глядя на неторопливый экскаватор, – Фюрер приказал преобразить Линц и сделать

его примером для всех маленьких городов рейха. Завидую тебе, Густав. Это прекрасное место для работы. Пусть и не слишком способствует карьерному росту.

– О, благодаря вашим ищайкам мне за всё время перепал лишь один по-настоящему скрывающийся еврей. И тот быстро получил аргентинский паспорт и выехал со всей семьей, даже не заикнувшись про свои права.

– О, ты, небось, в подворотнях Дрездена, привык стрелять в колено, а потом допрашивать? А потом, когда из криминальной полиции тебя взяли в гестапо, такие вольности запретили? Несчастный Шмитц. Не дают вкусить крови. Хотя, у меня есть для тебя решение. Попросись в Кенигсберг. Скоро они ударят по Польше с севера, и сядешь в каком-нибудь захолустном польском городишке. Там половина населения – евреи. А остальные – коммунисты. Будешь с утра до вечера арестовывать, пытаться, допрашивать. И всё во славу тысячелетнего рейха.

– Какая мерзость. Ты думаешь, я садист, раз служу в гестапо?

– Конечно же нет. Все знают вундеркинда из Дрездена, белоручку, мечтавшего стать фотографом. Не удивляйся, Кальтебруннер всем в Вене разстрезвонил о своём любимчике, который в двадцать восемь лет уже носит в петлице три серебряных звезды. Мне только в тридцать два выпала такая честь.

– Хватит заговаривать мне зубы. Зачем я понадобился СД? И связано ли это с моим расследованием?

– Я не знаю, что именно ты расследуешь. Поделишься?

Шмитц мысленно схватился за голову и стал рвать на ней волосы. Настолько его бесило совершенное непонимание ситуации, попахивавшей сюрреализмом. Эйхман же, напротив, казалось, даже в мыслях, был абсолютно спокоен и искренне недоумевал, в чем именно его подозревает Шмитц.

– Значит, мы приедем к Арльту, и я могу задать ему вопросы, осмотреть его дом, подвал, амбар, и потом уехать?

Эйхман сделал удивленное лицо и пожал плечами:

– Понятия не имею, мой друг. Правда, поспешу вас предупредить, что у Теодора сегодня встреча старых товарищей. Если уж вы и их заподозрите в том, что они оставили Вену ради вас, то, боюсь, у меня плохие новости для вашего психиатра.

Эйхман не обманул. У двухэтажного особняка, расположенного на высоком холме между Гроссамберг и Форстен-штрассе, и впрямь расположился целый автопарк под стать роскошному «грэф-унд-штифту», что свидетельствовало о серьезных гостях, пребывающих сейчас в доме господина Арльта. Символика СС и НСДАП, украшавшая автомобили, подсказывала Шмитцу, что ему предстоит непростое знакомство с другом многих влиятельных обладателей дубовых листьев на петлицах. И уверенности в себе Густаву такие выводы не добавили.

– О, Боже, Шмитц, да на вас лица нет, – добродушно усмехнулся Эйхман, паркуя машину между черным «мерседесом» и золотистым «хорьхом», – Вы хоть осмелитесь зайти внутрь, или подождете своего обермейстера тут?

Шмитц ничего не ответил. Перебирая в мозгу всевозможные сценарии развития событий, он не видел ни одного, в кульминации которого его награждают железным крестом с мечами и дубовыми листьями за раскрытие дела особой важности.

– Хорошо, Густав, я упрощу тебе задачу. Сейчас я войду в дом и вернусь с Теодором Арльтом. Ты задашь ему вопросы. Получишь ответы. Запишешь их в свой блокнотик, или запомнишь – как тебе угодно. И навсегда забудешь сюда дорогу. Ну, по крайней мере, пока не вступишь в ряды СС. Хорошо?

– Пожалуй, – упавшим тоном ответил криминаль-инспектор, сдаваясь на милость проклятой крысиной морды. Унтерштурмфюрер удалился, но, вскоре, появился вновь, а за ним следом шагал высокий светловолосый господин лет шестидесяти, с бронзовой кожей и идеальной осанкой. Одет он был в белый китель без знаков отличия, белые брюки и белые туфли,

благо двор его особняка блистал, как плац перед парадом в честь фюрера, и ничего не могло нарушить ослепительную, в осенней хмари, белизну облачения его хозяина.

Арльт свысока взглянул на криминаль-инспектора и высокомерно поджал нижнюю губу, сразу дав понять, насколько невысокого мнения он о выскочке, посмевавшем оторвать его от важных дел.

– Господин Арльт, позвольте представить вам главу отдела гестапо в рейхсгау Верхний Дунай, криминаль-инспектора Густава Шмитца, – торжественно объявил, как на приёме, Эйхман, учтиво склонив перед своим наставником голову.

– Густав, позволь представить тебе почетного динстляйтера НСДАП, Теодора Арльта. Кажется, ты желал задать динстляйтеру несколько вопросов?

– Конечно. Это не отнимет много времени, господин динстляйтер, – выпалил Шмитц, решив, что самое время броситься в омут с головой, выложить все карты на стол, и смотреть, что из этого получится. Когда-то в криминальной полиции Дрездена подобная безумная тактика позволила ему обратить на себя внимание только что организованного отдела гестапо и, в итоге, дорости до хорошего звания и годового жалования в четыре тысячи рейхсмарок. Возможно, сейчас был как раз тот самый момент. Тем более, и правда, Арльт мог и не иметь никакого отношения к найденьшу, а Эйхману Шмитц нужен был по какой-то другой причине.

– Господин Арльт, благодарю за то, что согласились выслушать меня. Скажите, вы знакомы господином Брандтом, владеющим индийским кафе в Линце?

– Это очевидно, раз вы прибыли сюда, – холодно ответил динстляйтер, глядя прозрачными рыбьими глазами будто бы сквозь Шмитца, у которого от стального голоса Арльта по спине пробежал холодок.

– Вы поставляете ему сандаловые свечи?

– Да.

– Вы занимаетесь импортом товаров из Индии их торговлей только в Линце?

– Пара вопросов разве не закончилась на предыдущем? – Арльт перевел взгляд на побледневшего Эйхмана, который, по-видимому, весьма подобоострастно относился к своему наставнику, о котором, почему-то, Шмитц никогда не имел чести слышать. Обменявшись с унтерштурмфюрером многозначительными взглядами, Арльт вновь уставился сквозь Шмитца и сказал:

– Я коллекционирую предметы восточной культуры. И продаю их. Сандаловые свечи и прочие ритуальные принадлежности являются второстепенным грузом, который я заказываю в Калькутте.

«Калькутта!» – осенило Шмитца, – «Клеймо на английском языке! Английская колония! Ого, да это всё неспроста!»

– Где вы храните сандаловые свечи?

– Склад индийских товаров находится в амбаре, за домом, со стороны Форстен-штрассе.

– Что вы знаете о юноше с разумом младенца и клеймом с английской надписью за левым ухом?

Арльт вздрогнул. Шмитц мог поклясться, что высокомерный старик не ожидал этого вопроса, и на секунду его маска безразличия слетела с лица. Прозрачные глаза забегали из стороны в сторону, а уголок рта нервно задергался. Криминаль-инспектор глянул на Эйхмана и понял, что для того вопрос был не меньшей неожиданностью. Более того, они вновь, уже взволнованно, переглянулись. Однако эффект неожиданности действовал всего мгновение.

– Что за бред вы несете? – чеканя каждое слово, переспросил Арльт. Затем он повернулся к Эйхману и добавил:

– Кажется, я дал ответов больше, чем обещал.

И, не прощаясь, вернулся в дом. Шмитц не рискнул его останавливать. Не желая ждать, пока зловещая пауза между ним и Эйхманом затянется, он спросил, не мог ли тот отвезти его обратно в Линц.

– Что за черт, Шмитц?! Что это был за бред про голого мальчика с мозгами ребенка?! – вместо ответа вспыллил вдруг унтерштурмфюрер.

– Разве не за этим вы пробрили мне колеса?

– Нет, черт возьми! Ты на днях депортировал в Аргентину чертова еврея с Леденштрассе!

– Шонберга? – настала очередь удивляться Шмитца, – А он тут причем?

– Да... – Эйхман открыл было рот, но спохватился и неопределенно махнул рукой, – Если ты не имеешь понятия, причем тут Шонберг, то и слава Богу. Поверить не могу. И это всё, что ты хотел узнать у Арльта? Seriously?

– Честное слово, Адольф, – ответил Шмитц и рассказал унтерштурмфюреру всё, что знал сам, и каким образом он додумался поехать в поместье Штайнервег, принадлежавшее Арльту. Целую минуту Эйхман потратил на переваривание полученной информации, после чего озадаченно крякнул, почесал в затылке и кивнул на машину.

– Садись. Отвезу тебя в Линц.

– Seriously? Адольф. Давай хотя бы заглянем в этот его амбар. Дело явно нечисто. Он испугался. Я следователь, я изучал психологию допроса на юрфаке дрезденского технологического.

– Садись в машину, Густав. Живо.

Опечаленный Шмитц, занял своё место. Эйхман прыгнул за руль, сдал назад, развернулся на месте, заставив покрышки визжать на каменной площадке перед особняком, и помчал автомобиль к Гроссабмергу. Однако, не доезжая до основной дороги, он завернул вправо, прямо в высокую пожелтевшую траву, и заглушил мотор.

– Идем, посмотрим, что там у него в амбаре, – проворчал Эйхман в ответ на немой вопрос Шмитца. Тот послушно кивнул и последовал за человеком, в котором никогда бы не смог заподозрить потенциального напарника.

Сотрудники двух разных ведомств, отвечавших за политическую безопасность рейха, пробирались по территории поместья Арльта сквозь густую траву по полю, которое давно никто не возделывал, что, как подумал Шмитц, для фермера было как-то странно. Пригнувшись, они миновали целый километр поля незамеченными и скоро оказались под стенами высокого деревянного амбара с крутой крышей, покрытой листами металла. Эйхман выглянул из-за угла и тут же юркнул обратно, прижав палец к губам.

– Два охранника, – прошептал он Густаву и показал пальцем назад, – Обойдем с другой стороны. Может, есть еще вход.

Амбар оказался, на удивление длинным. К тому же, в одном месте доски разошлись и отошли в сторону, обнажив кирпичную кладку, из которой в действительности была сложена стена. С недоверием потрогав кирпичи, Эйхман округлил глаза и молча двинулся дальше.

– Ничего, – грустно констатировал он, когда они обошли амбар кругом и вышли к главному входу с другой стороны. Охранники также никуда не делись. Вдобавок, начинало темнеть, и по всему поместью зажглись мощные электрические лампы, что для этой сельской местности было нехарактерно.

– Теодор сказочно богат, – пояснил такое расточительное использование электроэнергии Эйхман. Потом в очередной раз выглянул из-за угла, спрятался и сказал:

– Надо действовать. Меня скоро хватятся. Так что молчи и доверься мне.

С этими словами он выпрямился, вышел из травы на площадку перед амбаром и громким решительным голосом окликнул сторожей. Двое крепких деревенщин, вооруженных охотничьими карабинами, вытянулись перед унтерштурмфюрером со вскинутой вверх рукой.

– Гитлерюгенд? – спросил одобрительным тоном Эйхман и потрепал ближайшего парнишку по его коротко стриженной голове, – Молодцы. Когда у вас смена караула?

– В полночь, господин унтерштурмфюрер! – отчеканил один из часовых.

– Хорошо. Господин Арльт попросил меня познакомить нашего нового члена общества с его экзотическим хобби, пока они там со стариками распивают тирольские ликеры. Кстати, Густав у нас был шарфюрером гитлерюгенда в Дрездене, в тридцать четвертом.

– Простите, унтерштурмфюрер, нам запрещено кого бы то ни было пускать в амбар без прямого распоряжения...

– Так я и знал, – проворчал Эйхман, нанося короткий и точный удар рукояткой «вальтера» в висок говорившему парнишке. Его напарник, не успев ничего понять, тут же рухнул рядом, оглушенный вторым ударом.

– Черт, Густав, тут нужен ключ.

Однако Шмитцу было не до замка, запиравшего дверь в амбар. Он ошалело глядел на двух гитлерюнге, лежавших вповалку, и чувствовал, что происходит что-то абсолютно неправильное. Из оцепенения его вывел звонкий удар металла о металл. За ударом последовал торжествующий возглас Эйхмана.

– Черт побери, Шмитц, не стой ты там, как на ладони. Заходи внутрь.

Шмитц повиновался и вошел в амбар. И тут же его ноздри защекотал знакомый, весьма специфичный для Линца, запах сандала. А после он увидел источник запаха, в лучах света, проникавших с улицы сквозь открытую дверь. Ящики с наклейками, на которых был изображен индийский флаг, занимали все пространство перед входом. Их было не меньше сотни, и штабелями они тянулись, видимо, под самую крышу, исчезая в темноте.

– Вот твой сандал, – сказал Эйхман, разочарованно пиная один из ящиков, ответивший ему глухим треском, – Ничего интересного.

– Секунду, – зашипел на унтерштурмфюрера Шмитц, – Помолчи.

Адольф замолк и задержал дыхание, напряженно прислушиваясь. Потом с шумом выдохнул и пробормотал:

– Ну и дела. Похоже, он тут насекомых каких-то держит.

– Тут можно включить свет?

– Понятия не имею, Густав. Я тут в первый раз.

– Хорошо. У меня есть зажигалка. Будем ей подсвечивать путь.

– Ты куришь? – удивился Эйхман, но Шмитц не ответил. Он щелкнул массивным бензиновым «триплексом» и яркий оранжевый огонек вырвался из зажигалки, заметно улучшив видимость в амбаре.

Проход между ящиков найти оказалось легко, и, чем глубже в амбар пробирались незваные гости, тем отчетливее слышалось мерное жужжание, разносившееся под сводами крыши. В какой-то момент тесный коридор из ящиков закончился открытой забетонированной площадкой.

– Тепло, – произнес Эйхман, расстегивая шинель, – Вспотел уже весь.

– Тут решетка, – констатировал Шмитц, дойдя до края площадки. Просунув руку с зажигалкой между прутьев, он поводит ей из стороны в сторону. Вдруг странный, знакомый блеск заставил его отшатнуться и, чуть было, не вскрикнуть от испуга.

– Боже, Густав, что случилось? – прошептал Эйхман недовольно, – Ты мне сапоги оттоптал.

– Там люди, – ответил Шмитц, прерывисто дыша. Сердце его бешено колотилось. Он указал на решетку и повторил:

– Там люди.

– Дай сюда, – Адольф выхватил у замершего в шоке Густава зажигалку и тоже просунул руку сквозь прутья. Однако ему не потребовалось долго водить ей из стороны в сторону. Тихо

шипя, из тьмы на него выползли на четвереньках обнаженные люди. Юноши, девушки, дети. Все начисто лишённые волосяного покрова.

– Господь всемогущий! – воскликнул Эйхман, отпрянув назад и погасив зажигалку. Когда он зажег пламя снова, люди вплотную подползли к решетке и, завороченные, взирали на огонь немигающими глазами.

– Клеймо, – сказал Адольф, успокоившись и став внимательно рассматривать обитателей амбара, – У каждого клеймо за ухом. Даже у детей. Проклятье, Шмитц, ты был прав. Этот ублюдок держит тут целый человеческий зоопарк. Богом клянусь, его сможет оправдать только одно – если они – евреи.

– Вряд ли, – буркнул оглушенный свалившимся на него открытием, Шмитц, остекленевшими глазами разглядывая трехлетнего ребенка, пытающегося дотянуться до огонька маленькой пухленькой ручкой, – Они – арийцы. Я проходил антропологию и курсы френологии. Они – идеальные арийцы, Адольф.

Яркий свет, хлынувший со всех сторон, ослепил сотрудников органов государственной безопасности. Люди за решеткой испуганно зашипели и поползли назад, шлепая босыми ногами по гладкому полу. Когда зрение к Шмитцу вернулось, первое, что он увидел, дуло МР-36, нацеленное ему прямо в лицо. Потом черную униформу. Серебряный кант и молнии на петлице. Затем раздался знакомый стальной голос, обращавшийся к Эйхману.

– Адольф. Я в тебе разочарован. Я питал большие надежды на тебя, мой мальчик.

– Какого черта, Теодор?! Что за безумие здесь творится?! Кто эти люди?!

– Люди? Ах, да. Люди. Это, друг мой, мальки.

– Кто?

– Мальки. Ты был когда-нибудь на озере? Или на море? На фермах, которые разводят рыбу?

– Был. Причем тут это?

– Ты видел мальков?

Шмитц задрал голову вверх, откуда исходил голос Арльта, и обнаружил его на узком мостике, висящим под крышей. Он шел по нему над рядами загонов, обнесенных решеткой, и с любовью разглядывал обитателей амбара, которые, в свою очередь, устремили немигающие взоры на него.

– Смотри, Адольф. И ты, Густав. У них совершенно отсутствует человеческий разум. Они глупы. У них нет личности. Нет имен. Они не способны нести гордое звание – человек. И не несут. Они умеют только есть, совокупляться, и испражняться. И они так похожи. Вот, смотрите, сейчас я буду их кормить.

С этими словами Арльт достал из кармана пальто пригоршню чего-то и бросил вниз. «Мальки» громко зажужжали в унисон, раскрыв свои рты навстречу летящему сверху угощению. Еще бросок – и снова довольное жужжание. Арльт двинулся по мостику дальше – и люди, плотным косяком, последовали за ним, не опуская раскрытых жужжащих ртов. И трехлетний малыш, будучи отгесненный к краю косяка, ничуть не огорчился, а лишь сильнее раскрыл рот, повторяя за старшими. И от этого сюрреалистического зрелища у Шмитца потекли по щекам слезы.

– Почему ты называешь их мальками, Теодор?! – крикнул негодуя Эйхман, в бессилии сжимая кулаки под дулом автомата, наставленного на него здоровяком в черной униформе.

– Это не я придумал. Мой прапрапрадед, Генрих Арльт, увлекался биологией, антропологией, и горел идеей вывести чистую расу людей. Свободную от болезней, уродств, дефектов. И совершенно покорную. Пригодную для его целей, и целей нашего общества, чьи корни уходят в глубину веков. И вот...

– Боже... – прошептал Шмитц, присмотревшись внимательней к крыше.

– ...ему улыбнулась удача. Он смог вывести идеального человека. И смог заставить его размножаться. Увеличить популяцию. И, мои мальки ведут свой род от результатов его опытов, которые увенчались успехом двести лет назад.

– Зачем? Это идеальные солдаты? Чистая раса, о которой говорил фюрер? – не унимался Эйхман.

– Это еда, Адольф, – произнес Шмитц, глядя на крюки, свисавшие с потолка. На крюках медленно раскачивались освежеванные детские тела.

– Это? – Арльт показал на крюки и рассмеялся, – О, это особый заказ. Для наших скандинавских друзей. Мы называем это блюдо на их манер – салака. Говорят, вкусно. Но мне не очень нравится. К слову, я и трюфели не особо люблю. А ведь общепризнанный деликатес.

– Арльт, больной ублюдок! – воскликнул Эйхман и упал, сбитый с ног ударами приклада.

– Здоровый! Здоровый ублюдок! – воскликнул триумфально динстляйтер и облизнулся, – Просто ты меня не понимаешь, Адольф. Вы меня не понимаете. Люди едят животных. Коров. Овец. И людей. Долгие годы люди ели людей. Что в этом плохого? Ты ведь убивал людей, Адольф? Убивал. Причинял им мучения. Пытал. И ты, Густав, пытал того несчастного Шонберга, чтобы он тебе выдал других евреев. Пытал?

– Нет. Не пытал, – пробурчал Шмитц, кое-как сдерживая подступающую тошноту.

– Но ты пытал других. Я читал твоё дело. Ты был знаменит тем, что простреливал колено на допросе... А, хотя, какая разница? К чему я веду? Мы все убиваем себе подобных. Так почему бы их не есть? Как мне кажется, это идеальный конец человеческой жизни – послужить пищей другому человеку. И, незачем меня и моих товарищей осуждать. Кто-то любит рыбу. Кто-то – сельдерей или сыр в индийских пряностях. А я, или вот, старина Зейсс-Инкварт, Кальтенбруннер – мы любим «мальков». На Рождество мы жариваем прекрасного младенца... Ах, как символично. Ну, а кто-то жаривает поросеночка. Тоже ребенка, только свиного ребенка. А мы ребеночка-«малька». А уж каких отборных мальков мы поставляем в рейхсканцелярию. Откармливаем исключительно фруктами и фруктовыми соками. Поэтому у них мясо пахнет, как переспелый манго, с нотками кокоса. Чуток приторно, как мне кажется, но фюрер просто без ума от слегка запеченных «fruit». На одного из них, Шмитц, вам и не посчастливилось наткнуться. У грузовика лопнула шина и, пока шофер менял колесо, непослушный «малек» выпрыгнул и сбежал. Хотя, это и к лучшему. Непослушание у «мальков» – явный дефект.

– Какой же вы бред несете, Арльт! – процедил сквозь зубы Эйхман, приподнимаясь на руках, – Это же люди! Это же мерзко!

– А что я делаю не так, как вы? Убиваю их? Вот вы дали жизнь тем коммунистам, которых убили? Вы кормили их? Растили? Давали кров над головой? Давали им себе подобных для удовлетворения их главной потребности? Любили их? А я делаю всё это, Адольф. Я люблю их. У меня на ферме есть множество животных. И, когда я был ребенком, был милый индюк, я его звал Гансом. У него была такая потрясающая бордовая борода! Он был очень умный. Встречал меня после школы у ворот. Ждал, когда я принесу ему угощение. Давал себя почесать. А потом я с удовольствием съел его. Но это не мешало мне его любить. А ему – меня. Так и «мальки» меня просто обожают. А я, как бы это глупо не звучало, люблю их. Хотя, признаюсь, у меня есть любимчики. Вон тот, гляньте, с краю, пухлый карапуз. Лови, малыш!

Хлебный шарик упал точно в жужжащий рот ребенка. Он, с причмокиванием проглотил угощение, восторженно пискнул и вновь зажужжал, преданно глядя на хозяина.

– Люблю этого пупсика, – с искренне добротой и нежностью сказал Арльт, расплываясь в лучезарной улыбке, – Оставлю его на день рождения. Пусть нагуляет жирок.

Час спустя роскошный «грэф-унд-штифт» остановился у трехэтажного дома по улице Шпиттельвизе и погасил фары.

– Густав, – обратился к бледному криминаль-инспектору Эйхман, у которого все лицо было в кровоподтеках, а кривизна переносицы настоятельно требовала срочного визита к хоро-

шему костоправу, – Нам не тягаться с ними. Поэтому просто прими с благодарностью возможность остаться в живых и при должности, и занимайся своим делом. Ковыряй в носу, читай книжки, ходи по борделям. Но забудь про этих ублюдков.

– Я им служу, черт возьми.

– Неудобно получилось, согласен. Но, в первую очередь, мы служим Германии. Не забывай об этом. А они для Германии – добро. Пусть и такое, уродливое.

Шмитц не глядел на Эйхмана. Его немигающий взгляд был устремлен в пустоту, из которой постоянно возникало эфемерное детское лицо, с пухлыми щечками, чей рот был устремлен навстречу летящему сверху хлебному шарикю.

– А чем вы занимались у него на этих теософских вечерах? – спросил он тихо, закрывая глаза, – Столы вертели? Духов вызывали?

– О, Шмитц, ты опять за своё? Почитай сам труды Блаватской. Это... Господь всемогущий!

– Что такое, Адольф?

– Я с детства бывал у него... – Эйхман осекся и горько покачал головой, – Похоже, я тоже каннибал, Густав. Кто знает, чем он нас там потчевал.

Шмитц затрясся в беззвучном смехе.

– Я в госпиталь, и утром в Вену, – сказал на прощание Эйхман и с трудом вскинул покрытую ушибами руку. Шмитц кивнул, ничего не ответил, и решительно зашагал к дверям. Вдруг, вспомнив важную вещь, он остановился и обернулся к унтерштурмфюреру, с болезненным видом пытавшимся сесть обратно в машину.

– Адольф. Зачем ты пробил мне колеса? Что именно ты думал, я знаю про Арльта?

– Про Арльта? – Эйхман криво усмехнулся, и его окровавленное крысиное лицо в тусклом свете уличного фонаря стало по-настоящему ужасным, – Он – двоюродный брат Шонберга. Мишлинге. Когда я узнал, что ты вышел на Шонберга и допросил его перед депортацией, то решил, что через него выйдешь на Арльта. А Теодор слишком высоко стоит в НСДАП, чтобы дать такому делу ход.

– Еврей? Оккультист? Каннибал? И почти гауляйтер? – Шмитц забился в истерическом хохоте и зашагал домой, выкрикивая на всю улицу, – Кто сможет в такое поверить?!

Эйхман пожал плечами, глядя ему в след, и пробормотал под свой изувеченный нос:

– И я о том же.

Анатолий Герасименко Мать свалки

Маленький Снорри глядит на воду залива. В мае солнце над Рейкьявиком поднимается высоко, небо к полудню выцветает, и морская вода, подёрнутая чешуйками ряби, выцветает вместе с небом. Сегодня в заливе суматоха, перевернулся английский катер. Даже отсюда, с волнолома, слышно, как ругаются офицеры-бригиты. Хмурые солдаты лезут в воду, вылавливают ящики, банки, коробки, тянут на берег неподъёмные мокрые тюки. Снорри глядит, как по заливу медленно дрейфует английское добро. Испорченное, намокшее, непоправимо сломанное. Снорри любит сломанные вещи. Он бросает последний взгляд на залив, поднимается с нагретого камня и уходит домой.

Он живёт на окраине Рейкьявика вдвоём с отцом в маленьком кривобоком домике. Отец Снорри, Гуннар – художник. Картинами уставлена его мастерская, картины тесно, рама к раме, висят в гостиной и комнате Снорри, и даже в кладовой, в вечном сумраке, глядит со стены чей-то портрет. «На обои тратиться не надо», – шутит отец. Шутка невесёлая, картины Гуннара никто не покупает, какие уж там обои. Денег еле-еле хватает на кашу с треской и отцовский бренивин. Хорошо, хоть треску покупать не надо, Снорри ловит её в заливе. Бренивин же покупать совершенно необходимо, потому что отец без него не может. Он пьёт не так много, но пьёт каждый день – с тех пор, как умерла мать Снорри. «Рагнарёк! – говорит он, когда захмелеет. – Страшное настало время, сын. Проклятые немцы начали последнюю битву. Германия – точно волчище Фенрир. Сожрёт Европу, сожрёт Россию, а потом примется за нас. Владычица Хель соберёт большой урожай...» Снорри кивает, но сам не слушает, потому что слышал всё это много раз. Ближе к вечеру отец, слегка покачиваясь, уходит в мастерскую, и там бренивин помогает ему писать новую картину. Снорри же выскальзывает из дома и убегает на городскую свалку.

Он играет на свалке один. Порой к нему приходит соседская девочка, Анна. На свалке полно замечательных игрушек: выброшенные фарфоровые куклы, резные, ярко раскрашенные деревянные солдаты, большие грузовики. Не беда, если у куклы не хватает глаза, солдат лишился руки, а у грузовика остались лишь три колеса (из них одно – от другого грузовика). Снорри любит сломанные игрушки, они для него даже милее новых. Новые солдатики пахнут стружкой и лаком, их каски сияют, а нарисованные глаза безмятежно глядят прямо перед собой. Сразу видно, что они ни черта не знают о настоящей войне. Другое дело солдатики со свалки, объясняет Снорри Анне. Вот у этого вид точь-в-точь как у английских моряков из порта: мундир потрёпанный, каска помята, да еще и руки лишился где-то в боях. Он – настоящий, как живой, не то что новые из магазина, понимаешь, Анна? Девочка кивает, баюкающая одноглазую куклу. Родители ворчат, когда она пропадает на свалке. Они не любят Снорри, не любят Гуннара, не любят свалку и вообще хотят переехать на материк. Только куда переедешь, если на материке – Рагнарёк?

Домой Снорри приходит после захода солнца. Почти всегда он приносит со свалки что-то новенькое: лампу без абажура, спущенный мяч, собачий ошейник. Отец этого не видит, он либо уже уснул, либо яростно борется с очередной картиной. Снорри затаскивает добычу на чердак, зажигает стеариновую свечку, и жёлтый пугливый огонёк освещает его коллекцию. До самой крыши поднимаются пирамиды сломанных вещей: навеки замолкшие приёмники, траченные молью шляпы, погнутые канделябры, позеленевшие суповые миски, дырявые зонтики, плюшевые медведи, чьи лапы болтаются на дряблых нитках, а из ушей торчит вата. Снорри любит спать здесь же, на чердаке, хотя у него есть комната внизу. Он ложится на толстый матрас с продавленным углом. Матрас со свалки было притащить тяжелее всего,

но помогла тележка, найденная там же, рядом с матрасом. Бросив прощальный взгляд на свою коллекцию, Снорри задувает свечу и лежит в ожидании сна, глядя в темноту. По крыше стучит ледяной дождь, ветер доносит морской гул с залива, чайки жалобно хохочут, а сквозь чердачное окошко скользит свет военного английского прожектора, выхватывая из темноты сломанные, сломанные, сломанные вещи...

Спустя полчаса, когда сон уже спустился, но еще не крепок, приходит Мать свалки.

– Снорри, – шепчет она, – Снорри Гуннарссон, давай поговорим.

Он улыбается, протягивает руки. Высокая фигура наклоняется над ним, и Мать заключает Снорри в объятия. Прожектор на миг освещает её большое лицо, узоры на щеках, волосы, струящиеся до самого пола. Потом вновь становится темно, но Снорри всё равно видит Мать, потому что она – темнее темноты.

– Что принёс сегодня, малыш? – звучит низкий голос.

– Зеркало! – выпаливает Снорри. – Настоящее, с ручкой аж из серебра! И почти целое. Давай покажу!

Он вскакивает, зажигает свечу и хвастается добычей. При свете Мать свалки кажется ещё больше: закутанное в рубище огромное тело, глаза смотрят из-под самого потолка, когтистые руки бережно принимают зеркало из детских ладоней.

– Это не серебро, – нараспев говорит Мать, – но это очень красивая вещь. Молодец, что нашёл!

Они смотрятся в разбитое зеркало, их отражения, пересечённые глубокими трещинами, дробятся на части: курносая мальчишеская рожица и бледное, испещрённое узорами лицо с глубокими ямами глаз. Наглядевшись, Мать гладит Снорри по голове и начинает говорить.

Любая сломанная вещь – лучше целой, учит она. Глупые люди не видят, как прекрасны вещи, которые они сломали. Эта красота принадлежит нам с тобой. Снорри гордо кивает, он согласен с Матерью. Вся его коллекция, каждый выброшенный кем-то патефон, или радио, или пишущая машинка – все они сияют особенной, неповторимой красотой разрушения, красотой глена. А самое главное, продолжает Мать, никто и никогда не отберёт их у тебя. Все эти сокровища ты можешь найти на свалке, и они становятся твоей собственностью. Только твоей!

Снорри задумывается.

– Жаль, некоторые вещи слишком прочные, – вздыхает он. – Вчера у Олафа такой бинокль видел. Вот бы он сломался! Я бы взял на свалке. Но бинокли хорошо делают. Ещё ждать и ждать...

Мать улыбается, синие узоры на щеках приходят в движение.

– Зачем же ждать?

Она склоняется к Снорри, две головы касаются лбами – огромная, темноволосая и маленькая, в светлых кудрях. Мать свалки что-то шепчет своему воспитаннику, и тот внимательно слушает, а ветер за стенами стихает, будто не смеет мешать её речам.

На следующий день Снорри стучится в дверь Олафа. Пойдём на залив, дружище, там сегодня видно немецкие корабли! Только захвати бинокль, а то они далеко, так не разглядеть. Олаф забегает в дом за биноклем, и мальчики идут на залив Фахсафлоуи, на высокий береговой утёс. Олаф, прильнув к окулярам, долго-долго ищет на горизонте низко сидящие, ошестившиеся пушками силуэты «Бисмарка», «Принца Ойгена», «Гнайзенау». Но горизонт чист, солнце в зените, небо и вода сияют, дрожат, переливаются, как изнанка морской раковины. Должно быть, ушли, вздыхает Снорри. Да их и не было, ты всё наврал, ворчит Олаф. Вот, вот они, вскрикивает Снорри. Где? Да вон! Не вижу ничего. Дай бинокль! Не дам! Дай, покажу, там, вон уходят! Дай! Пусти, не трожь! Ну дай, чего ты! Шум, возня, неловкое движение – и дорогая игрушка падает с утёса на камни внизу. Стекланные брызги плещут из окуляра, блестящий корпус смят, ремешок сиротливо цепляется за вересковый куст. Испуганно пере-

глянувшись, мальчики спускаются к воде. Олаф встаёт на колени, баюкает разбитый бинокль. Оборачивает сморщенное лицо:

– Дурак! Всё ты виноват! Отец всыплет теперь...

Жалость, как грязная волна, захлёстывает Снорри: жалость к Олафу, к его отцу, который, наверное, долго откладывал деньги на подарок, жалость к разбитой линзе, к биноклю, который только что был новеньким, сверкающим, целым... Олаф, плача, уходит домой, и Снорри глядит ему вслед.

Через день он, как обычно, залезает по скрипучей лесенке на чердак, ложится на криво-бокий матрас и, сдерживая дыхание, ждёт. Чайки кричат, дом стонет в объятиях ночной бури, и, как всегда, вместе с первым дыханием сна приходит Мать свалки. Снорри тут же вскакивает, протягивает ей то, что в дремоте прижимал к груди:

– Нашёл сегодня! Всё вышло, как ты говорила! Олаф выкинул, а я нашёл! Теперь он мой!

Мать подносит к лицу бинокль и долго смотрит в чердачное окно. Снорри хочет сказать: погоди, ты неправильно смотришь, только правым глазом, а лучше двумя; и надо покрутить колёсико, тогда лучше видно; и вообще, ты глядишь в разбитый окуляр, лучше загляни в тот, что уцелел... Но Мать протяжно вздыхает и говорит:

– До чего же прекрасно!

Она передаёт бинокль Снорри, тот нехотя приникает к окуляру и замирает от восторга. Сквозь поцарапанное стекло, преломившись в треснувших призмах, словно в калейдоскопе, видна поверхность Луны, размельчённая, узорчатая, завораживающая. Мать держит бинокль, пока Снорри не насладится сказочной Луной, которая в этот вечер для них словно бы тоже сломана, разбита на тысячу лунных осколков и неслышно плывёт среди огромной звёздной свалки...

– Видишь, как просто, – ласково говорит Мать.

Теперь Снорри учится ломать вещи. Игрушечный парусник на каминной полке у соседей, карманные часы учителя датского языка, чучело орла из кабинета зоологии, компас, забытый рыбаками на лодочном причале, резная табакерка аптекаря с улицы Келдуленд. Мать помогает ему подмечать самое редкое и красивое. Невидима и неслышима для всех, шепчет, когда он слоняется по рыночным рядам: «Смотри.» – и Снорри впивается коротким взглядом в прекрасную безделушку на прилавке. «Жди», – говорит Мать, и он ждёт поодаль, не привлекая внимания, бледный мальчишка с трогательным кудрявым чубчиком, ждёт, пока торговец зазеваётся, обслуживая богатого покупателя. «Сейчас», – раздаётся шёпот. Снорри смело шагает вперед, протягивает руки и ломает вещь. Быстро, ловко, надёжно. Торговец с подозрением оборачивается, но мальчик встречает его ясным взглядом: ничего не спрятано за спину, не топорщится за пазухой, да и товары вроде бы все на местах...

А через день – скандал, разгневанный клиент вопит: «Вы продали мне негодный барометр, верните деньги!» Барометр с виду цел, но внутри будто молотком прошлись. Тонкая пайка разорвана, нежные шестерёнки смяты. Дешевле выписать у поставщика другой, чем чинить этот хлам. Торговец, вздыхая, заказывает новую партию, а сломанный прибор отправляется сначала в мусорную корзину, оттуда – в старый, натужно сипящий грузовик дворницкой команды, а там уже недалеко и до всепоглощающей городской свалки. Нужно только выждать пару дней, и вот Снорри прижимает к груди барометр, такой чудесный, такой изящный, в угольно-чёрном эбонитовом корпусе. Не беда, что стрелка навечно застыла у отметки «Сушь». Зато как сияет латунь, как тонки буквы на циферблате, как звонко дребезжит внутри, если стукнуть по стеклу! Перед сном Мать свалки является на чердак, и вдвоём они любят барометром. А завтра – новая охота.



Так повторяется много раз. Мальчик растёт, мужает, становится юношей, с каждым днём он всё осторожней, но вместе с тем всё изощрённей его искусство. О, ломать он умеет! Снорри не задумывается над тем, что делает, ему достаточно протянуть руки, коснуться предмета и повелеть: больше не будь целым, а будь сломанным. Может быть, так Мать помогает своему питомцу, а, может стать, это его собственный, природный дар? Как бы то ни было, Снорри может сломать что угодно, быстро и непоправимо, не привлекая лишнего внимания. От него нет защиты: ведь люди привыкли обороняться от воров – но ему не нужно уносить с собой то, чего он вожделеет, нужно только коснуться и оставить на месте, а затем немного подождать, пока вещь не будет выброшена. Он царствует над свалкой и взимает с неё дань. Чердак переполнен, комната ломится от испорченных предметов, кладовка тоже забита под завязку. Гуннару всё равно, Гуннар стареет и всё больше пьёт бренивин. Жена в могиле, картины не продаются, Рагнарёк с каждым днём ближе – что ему сыновние причуды? Снорри любит отца. Иногда он прокрадывается в мастерскую и глядит, как Гуннар воюет с холстом. Картины полны алых тонов и бурых теней, огня и пепла, но никакие краски не выразят тоску в отцовском сердце, тоску одиночества. Снорри нравятся картины. Они сломаны от рождения, ещё до того, как написаны. Сломаны в сердце Гуннара.

Но всё проходит, даже страсть художника, даже скорбь о любимых, даже Рагнарёк. Война заканчивается, англичане уходят, их сменяют американцы, и на аэродроме Кеблавик открывают американскую закусочную. Гуннару предлагают работу в закусочной, он, как ни странно, соглашается, работает сутки через двое. В доме начинает оставаться недопитый бренивин и недописанные картины, а вскоре обнаруживается причина этих перемен: смешливая пухленькая официантка Вики родом из Дакоты. Оказывается, отец всё ещё умеет улыбаться и шутить. Снорри трудно понять, чему больше места в его неумелой душе – радости, злости, ревности? Отец немолод и вдов, Вики тоже вдова, тоже разменяла пятый десяток, их обоих

можно понять. Но всё это как-то неправильно. Отец ведь сломан, давно сломана его жизнь, это прекрасно – быть сломанным, зачем же притворяться целым?.. Как бы то ни было, проходит полгода – и Гуннар переезжает к Вики, оставив сыну дом, полный картин, одиночества и сломанных вещей.

Снорри продолжает взрослеть. Он по-прежнему любит бывать на свалке и совсем не любит сидеть дома: в старенькой хибаре без Гуннара тихо, как на дне залива, и так же холодно. Снорри чувствует в сердце тоску, доставшуюся от отца, тоска гонит его гулять по Рейкьявику, бродить без цели с утра до вечера, пока не загудят от усталости ноги. Однажды, слоняясь по улицам, он натывается на большую толпу, и толпа, как река, увлекает юношу за собой. Люди что-то кричат, идут под мартовским ветром к парку Аустурволлюр, к высокому, опоясанному узкими балконами зданию альтинга. Хрипят мегафоны, белеют самодельные транспаранты, кому-то отдавили ногу, и он ругается отчаянно, по-датски – в исландском языке нет крепкой брани. Народу всё прибавляется, люди напирают, где-то раз за разом скандируют «НАТО – долой! Армию – долой!» Полицейские в оцеплении вертят касками, топорщат усы. Толпа шумит, внезапно кто-то кричит «Эйнар в заложниках! Эйнара схватили!». В здание альтинга летят бутылки и камни, стрельчатые окна сыплют осколками. Сквозь ужасный шум Снорри явственно слышит над ухом знакомый шёпот: «Уходи сейчас же». Он ввинчивается между людьми, его тычут под рёбра, все машут руками, все орут, весь мир – одно перекошенное лицо. Снорри делается страшно. «Слева, – шепчет Мать, – в переулок. Торопись!» Он ныряет под чей-то локоть и, едва не упав, вываливается на свободу. Маячит впереди спасительный переулок, Снорри на заплетающихся ногах бежит прочь от толпы, а за спиной раздрающе воеет полицейская сирена, и, лопааясь, по-змеиному шипят гранаты со слезоточивым газом...

Холодную весну сменяет столь же холодное лето. Раненые выздоровели, убитых похоронили, арестованных выпустили, бунт окончился ничем. Юному Снорри плевать на дела маленького острова. Юный Снорри сидит на берегу и смотрит на воду залива. Ему семнадцать, он работает смотрителем на свалке. Работа простая: раз в день прими колонну грузовиков, заполни гроссбук да запри ворота, когда закончат выгружать мусор. Платят, конечно, гроши, но что значат деньги для того, в чьей власти бескрайние мусорные просторы? Коллекция занимает теперь весь дом, пирамиды хлама громоздятся до потолка. Глядя на матовую, алую перед закатом воду Фахсафлоуи, Снорри отчего-то вспоминает, как приволок домой последнюю добычу, почти новый телевизор с лаковыми деревянными боками и навеки ослепшим кинескопом. Как долго искал место для тяжеленного прибора, с каким трудом втиснул его в основание мусорного столпа, преграждавшего путь в доверху забитую кладовку, и как гордо показывал свежий трофей Матери, пришедшей, как обычно, навестить перед сном. То было месяц назад, и тогда, казалось, не нашлось бы на всём острове никого счастливее, чем Снорри. Но всё это теперь мнится ему маленьким, глупым, бесполезным, потому что случилась беда.

Анна – соседская девочка, которая когда-то приходила играть на свалку – Анна тоже выросла. Превратилась в высокую златовласую красавицу. Глаза у неё цвета неба над Рейкьявиком, кожа – нежно-белая, как молочный пудинг. Анна поёт в хоре, ходит по субботам на танцы, шьёт себе модные юбки. Не так давно она зашла к Снорри домой. Зашла вечером, просто хотела поведать старого друга, а закончилось всё тем, что он пошёл с ней в клуб «Гаукуринн». Неловко было плясать в стареньком отцовском костюме, да Снорри и не умел толком плясать, откуда ему? Музыка гремела так, что отдавалось в груди, заказанный в баре джин-тоник отдавал резиной и уксусом. Но в конце объявили медленный танец. Анна прильнула всем телом, горячая и мягкая, и губы у неё оказались горячие и мягкие, а позже, ночью, груди и бёдра оказались крепкими и прохладными, и он совсем не знал, что делать, а она уже откуда-то знала и помогла ему. Это случилось у неё дома: родители уехали на материк, оставив дочь готовиться к экзаменам. Когда, после всего, Снорри лежал, обняв Анну, и древние часы на стене тикали, отмеряя секунды его новой жизни, он вдруг понял, что прежнее счастье ничего не стоило.

Анна была прекрасней и дороже всего, что он знал. Она не была сломанной, она была целой и делала целым его самого.

Теперь Снорри глядит на воду залива, и вода гаснет, как гаснет умирающее солнце. Анна выходит замуж. Оказалось, у неё давно есть жених. Тот вечер был ошибкой, сказала она. Славной, милой ошибкой, и ты, Снорри, очень славный и милый, но пойми, я молодая девушка, у меня есть потребности, и Оскар может дать мне то, что нужно, дать уверенность в завтрашнем дне. Времена сейчас непростые, везде эти проклятые беспорядки, люди словно обезумели, а я, я отчаянно хочу жить. Не считать каждую жалкую крону, не перешивать старые платья. Оскар – человек с будущим, строит карьеру, занят большими делами. А ты просто... ну, сидишь на свалке. Снорри, ты очень хороший, и всегда был лучшим другом, и останешься лучшим другом навсегда, но, в общем... Прости.

Настаёт чёрный день, и Снорри, нарядившись в отцовский костюм, идёт на свадьбу Анны и Оскара. Оскар неизбежно оказывается красавцем, плечистым, улыбчивым, стройным. Анну приводят в белом, слепящем на солнце платье. Молодожёны глядят только друг на друга, когда трижды дают обещание верности, когда сидят на особой церковной скамейке для новобрачных, когда обмениваются подарками. Подарки дарят, конечно, после церемонии, в спальне, оставшись наедине. Это старинная традиция: время подарков приходит, когда жених и невеста уже в постели, уже обнажены, уже готовы познать друг друга, и как раз в этот счастливый, но непростой миг настаёт время для маленьких, трогательных сувениров. Анна дарит Оскару топазовые, принадлежавшие ещё деду запонки, Оскар преподносит молодой жене бриллиантовые серьги. Восторженные вздохи, благодарные улыбки, сверкающие глаза. Но вот подарки отложены, молодые ложатся рядом. Мужская ладонь скользит по бедру, пробует на ощупь нежную мякоть, Анна испещряет грудь Оскара поцелуями. Ночник безмолвно взирает на них неоновым оком, а из-за тёмного полуночного окна так же безмолвно смотрит укрытый темнотой, невидимый для всех Снорри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.